



№ 4 (7)
2020

Традиции
& АВАНГАРД

Журнал «Традиции & Авангард»

Литературно-художественный журнал
Традиции & Авангард. № 4 (7) 2020

"Издательство "Интернационального союза писателей"

2020

Литературно-художественный журнал

Традиции & Авангард. № 4 (7) 2020 / Литературно-художественный журнал — "Издательство "Интернационального союза писателей", 2020 — (Журнал «Традиции & Авангард»)

ISBN 978-5-907395-29-9

«– Немский районный суд слушает дело по иску Сергеевой Тамары Петровны к Сергееву Ивану Матвеевичу об ограничении дееспособности и установлении попечительства. Судья выпустила лакированный молоточек из пухлой властной руки, и мне бросились в глаза её промасленные, потемневшие до цвета мантии подушечки пальцев. Говорят, в нынешнем августе как никогда прежде пошли маслята. Значит, и она петляла в эти выходные между сосняками и молодыми ельниками, внимательно вглядывалась в запорошенные сухой хвоей суглинки. Значит, и её так же, как меня, одолевали комары и мордохлыст...»

ISBN 978-5-907395-29-9

© Литературно-художественный журнал, 2020

© "Издательство "Интернационального союза писателей", 2020

Содержание

Проза, поэзия	6
Александр Суханов	6
Музыка	6
Лилия Газизова	13
Между любовью и землетрясением...	13
«Меня воспитала закрытая дверь...»	13
«Целоваться лучше на фоне гор...»	14
«Так долго смотрели на небо...»	15
Высокая рутина	15
«Я хочу сидеть...»	16
«Бестолочь ненаглядная!...»	16
«Что стало с поездом...»	17
«Жизнь в турецкой провинции...»	17
Анатолий Санжаровский	19
Стакан распятой земли	19
Калачеевская ночь	20
Жители тюрьмы	22
Пастушонок	24
Куряка	25
Утро в калаче	29
Новая Криуша – столица нашей семьи	35
Эпилог. Странная реабилитация, или «Социализм с человеческим лицом»	39
Дмитрий Филиппенко	42
Тише, тише, давай без любви...	42
В эфире	42
Сегодня	42
«В подземной колыбели тишина...»	43
Летом...	43
«На сонный берег января...»	43
«Моя любовь замёрзла у реки...»	44
«Под одеяло хочется твоё...»	44
«Удалила меня из Сети...»	44
Холодная постель	44
Полторы минуты	45
«От меня ушла жена...»	45
Чужое лето	45
Несерьёзная	46
«Я шатаюсь по городу пьяным...»	46
Алексей А. Шепелёв	47
Велосипедная прогулка	47
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Традиции & Авангард. № 4 (7) 2020 г.
© Интернациональный Союз писателей, 2020

Проза, поэзия

Александр Суханов



Александр Суханов родился в 1977 году в Кировской области. Детство и юность прошли в Воркуте. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Работал в торговле, машиностроении, сельском хозяйстве, более десяти лет провел на строительстве нефтяных и газовых месторождений. Изобретатель. В настоящее время живет в деревне Нондратово Пермского края. Рассказ «Музыка» – писательский дебют Александра Суханова.

Музыка

Рассказ

– Немский районный суд слушает дело по иску Сергеевой Тамары Петровны к Сергееву Ивану Матвеевичу об ограничении дееспособности и установлении попечительства.

Судья выпустила лакированный молоточек из пухлой властной руки, и мне бросились в глаза её промасленные, потемневшие до цвета мантии подушечки пальцев. Говорят, в нынешнем августе как никогда прежде пошли маслята. Значит, и она петляла в эти выходные между

сосняками и молодыми ельниками, внимательно вглядывалась в запорошенные сухой хвоей суглинки. Значит, и её так же, как меня, одолевали комары и мордохлыст. Может быть, мы даже пересекались с ней на какой-то из местных опушек, я запросто мог не обратить внимания на эту женщину среднего возраста, средней комплекции, со среднестатистической для посёлка Немский женской причёской – эдакой аккуратной лыжной шапочкой из волос. Вчера, в сапогах и дождевиках, мы с ней были равны на бескрайних вятских увалах. Сегодня же, в коротком разговоре до заседания, она тонко дала мне понять, что я, заезжий городской помощник прокурора, для неё скорее неопытный мальчишка с идеалистическим представлением о мире, вчерашний студент, нежели достойный союзник в деле правосудия. Она хозяйкой возвышается на пьедестале душного зала в три наглухо зашторенных окна с низким потолком, а я по её левую руку сгорбился за неудобным столом – сбоку припёка.

– Истица, Тамара Петровна, пожалуйста, вам слово.

Со скамьи в первом ряду поднялась грузная женщина.

Наверное, в бумаги закралась опечатка, потому что на вид ей было уже далеко за пятьдесят. Она нервно затеребила платок такими же, как у судьи, тёмными пальцами. Пару минут женщина переступала с ноги на ногу, силясь начать. Смущаться ей было чего – на скамейках за её спиной, плотно друг к другу, сидели три десятка зрителей, не скрывающих своего любопытства.

– Я там в заявлении всё подробно написала, товарищ судья. Мужу моему, Ивану Матвеевичу Сергееву, с два года как вожжа под хвост попала. Ровно леший его какой на старости лет укусил. Справил паспорт заграничный и повадился в самый сезон по ненашенским фестивалям разъезжать. То, что он фестивалит, – ещё полбеды, денег в семью не несёт. Думала, подуркует год, перебесится, одумается. Как же, одумался... Упрямого, видно, только дубина исправит. Этим юнем опять укатил. Двое детей дома, а ему трын-трава по пояс. Хочу, чтобы евонную зарплату мне на руки выдавали.

– Ответчик, Иван Матвеич, что скажете?

С другого края скамьи встал жилистый загорелый мужчина. Выглядел он гораздо моложе жены и был, в отличие от неё, не деревенской наружности. Джинсы и футболка – казалось бы, кого теперь удивишь этим незамысловатым набором даже в глубинке. Но штаны на нём сидели по-городскому ладно, по фигуре, не висели бесформенными «трубами» с засаленными перегибами у колен. Футболка тоже подчёркивала стать, на груди не было обычных для этих мест надписей типа Montana или University of Kansas. В пальцах его крепких рук совсем не наблюдалось мандража. Он весь был натянут, как тетива готового к выстрелу лука. Меня привлекал его гордо вздёрнутый подбородок, он напоминал мне Спартака из старого кинофильма в исполнении Кирка Дугласа.

– Что сказать? Перегибает супруга моя по всем фронтам. Перед людьми неудобно, честное слово. В суд пошла народ смешить. Прокурора вон вызвали...

– Иван Матвеич, давайте по существу дела.

– По существу... Две трети получки я каждый месяц в дом отдаю. Бригадир Логинов подтвердит, он там, в коридоре, сидит. Не шибко он ко мне расположенный, чтобы в мою пользу дудеть. А треть я и раньше себе забирал – папиросы, рыбалка, с друзьями посидеть, как без этого? Имею право. Мужик я всё-таки. Должны у меня быть свои деньги? А зарабатываю я хорошо, будьте спокойны, – и плотник, и каменщик шестого разряда. Шабашим с бригадой, почитай, круглый год, от клиентов отбоя нет – знать, такое качество даём. Дети сыты, одеты-обуты. В общем, не хуже, чем у других. Двух сынов уж подняли – и дочерей сдюжим, нет в том никакого сомнения.

– Но новые интересы, о которых говорит жена, у вас в последнее время появились?

– Это да, два раза в год уезжаю, что скрывать. А что? Имею право. В городе вон четыре недели отпуска – закон. А мы здесь чем хуже? – с этими словами он очень выразительно

посмотрел на меня. – Летом в Европу на рок-фестиваль ездю, на Новый год – в Москву, в Большой театр.

– Давно ездите, Иван Матвеевич?

– Да уж два года как.

– До этого музыкой увлекались?

– Нет.

– Присаживайтесь, Сергеев. Тамара Петровна, вот муж утверждает, что отдаёт вам две трети своего ежемесячного заработка.

– Да врёт он всё! В глаза смеётся, – голос Тамары Петровны повысился от искреннего надрыва. – Уходят деньги налево, рекой текут. Один только штамп в паспорт ему в десять тысяч встал, я документы эти в комодке нашла. Путёвка в Германию в полтора года тыщ вышла! – она обернулась к людям и сделала многозначительную паузу. – Одежда эта новая, петушиная! Перед людьми ему стыдно, как же! За юнь он вообще ни копейки домой не принёс. Усвистал посередине дела со стройки, бригаду бросил. Так дальше пойдёт – его скоро вообще из бригады турнут.

– Тамара Петровна, вы можете сказать, какую часть зарплаты муж тратит на семейные нужды?

– Младшенькой хотели пальто к зиме купить – не вышло. Старшая компьютер просит – папке нашему опять недосуг, – она вряд ли слышала вопрос, её надрыв сменился тихим речитативом.

– Истица, вы можете изъясняться с судом более понятным языком? Сколько супруг направляет денег на общесемейные цели? Конкретно, в процентах от зарплаты или в рублях.

– Да как цифры ни крути, товарищ судья, а супротив прошлых лет порядком меньше выходит. Нет никакого сравнения.

– Ладно, присаживайтесь, Сергеева. Пристав, пригласите свидетеля Логинова.

Под тяжёлыми сапогами бригадира отозвались половицы, укрытые линолеумом. Не хотелось бы оказаться на пути этого крепкого коренастого мужика в тельняшке и бесформенной брезентовой куртке.

– Представьтесь, свидетель.

– Логинов Алексей Михайлович.

– Кем приходитеесь Сергеевым?

– Живём мы в одной деревне, земляки. Иван в моей бригаде работает, бетонщик, каменщик, плотник, кровельщик, всё по высшему, шестому, разряду. Жёны наши, Нина и Тамара, по-соседски приятельствуют.

– Вы можете подтвердить, что Сергеев две трети зарплаты отдаёт семье?

– Как на духу подтверждаю. Я сам им деньги отвожу – так Иван просит. Из рук в руки вот Тамаре и передаю, – бригадир говорил вполголоса, как бы нехотя.

– Сергеева, вы получаете деньги от бригадира Логинова?

– Да неладно с Иваном, товарищ судья! Не сегодня завтра шестой десяток пойдёт – наколку сделал. Это куда, люди добрые, в какие ворота лезет? Раньше райком на них был, а сейчас им хоть кол на голове теши, – платок пришёлся весьма кстати для проступивших слёз.

– Сергеева, отвечайте на вопрос. Вы получаете деньги от Логинова?

– На днях вообще заявил, что фамилию сменит... – это уже больше походило на истерику.

– Сергеева, успокойтесь, пожалуйста... Сядьте. Иван Матвеевич, почему вы не договариваетесь с супругой по поводу дорогих приобретений? По мнению вашей жены, они ставят семью в затруднительное финансовое положение.

– Имею право.

– Суд может вас ограничить в расходовании денежных средств, Сергеев, если...

– Не имеете такого права.

– Сергеев! – молоточек снова оказался в руках судьи. – Я накажу вас за неуважение к суду!

Народ в зале загудел. Сергеев виновато наклонил голову.

– Тишина в зале! Пристав, откройте окно... и раздвиньте все жалюзи.

Света в помещении суда стало немногим больше – второй день, как небо над Немским затянуло серыми пятнами, словно какая-то неумелая хозяйка постирала голубую скатерть вместе с чёрным линяющим трико. С улицы в зал ступила тяжёлая влажность, какая бывает от нежелания затянувших небо туч разродиться дождём. Мой лоб прошибла испарина, захотелось снять китель. От волн строительного шума ломило зубы – за окном с пронзительным визгом резали плитку. Судья тоже болезненно поморщилась и попросила закрыть окно. Пауза затянулась.

– Может быть, у прокурора есть вопросы?

– Да, с вашего позволения, – я хотел казаться максимально солидным и рассудительным. – Свидетель Логинов, как бы вы охарактеризовали поведение Сергеева в последние два года? Что-то в нём изменилось?

– Если уж честь по чести говорить, то есть такое дело. Ты не взыщи, Иван, это мнение бригады. У нас с выпивкой в коллективе строго – сухой закон, но после сдачи объекта заказчику посидеть с мужиками с устатку, подвести черту стройке – традиция! – Логинов повысил голос. – Так вот, сторониться он нас начал, разговорами нашими брезговать. Да и после смены всё больше один в углу вечерует – наденет свои наушники и глаза закроет. Ребята этого его пижонства не одобряют.

– Может, у него на то была какая-то причина? Заболел человек или дома что случилось?

– Это уж вам у него самого сподручней спросить.

– Тамара Петровна, может, вы знаете причину перемен мужа?

– А тут и думать нечего, господин прокурор, всё ясней ясного, – она резанула меня своим «господин прокурор» почище болгарки за окном. Интересно было бы узнать у неё, почему это судья ей – товарищ, а я – господин?

– Ну поделитесь с нами, пожалуйста.

– Ходит лощёный, словно утюгом разглаженный, одеколоном по утрам брызгается – чего тут не понять? Видно, бес за ребро нашего папку подцепил, – и она обиженно отвернула голову.

– Сергеев, вы можете пояснить суду причины ваших новых увлечений? Ведь съездить за границу – это не на рыбалку сходить, не пачку папирос купить. Накладно для семейного бюджета получается.

– Нет у меня нужных слов, господин прокурор, чтобы объяснить...

– А вы всё-таки попробуйте начать. Это в ваших же интересах.

– Вам ли не знать, что не на все вопросы бывают ответы, – я уловил в его словах некий вызов.

– Честно говоря, не понял вас, Иван Матвеевич.

– Это же вы приезжали в Немский прошлой весной с комиссией по новой школе?

– Сергеев, вы забываетесь... – снова заработал молоточек судьи.

– Светлана Семёновна, спасибо, всё нормально. Понимаю, что не по процедуре, но позвольте ответить. В город ко мне на приём накладно добираться – путь неблизкий, когда ещё свидимся.

Судья непонимающе покачала головой и развела руками. Наверняка в её голове пронеслось: «Балаган!».

– Да, Сергеев, я приезжал.

– Ну и что, есть ответ на тот наш вопрос? А то мы тут, честно говоря, до сих пор в неведении пребываем.

– Мы свою, прокурорскую, часть давно отработали, дело непростое...

– А нам вот тут кажется, что всё просто. Прямо-таки до неприличия.

– Буду признателен за ваши соображения.

Кадык под его волевым подбородком заходил чаще:

– Чего уж тут мудрёного. Нашей старой кирпичной школе сто лет с гаком, не шелохнётся, а новая пять лет не простояла, фундамент ушёл.

Люди в зале опять загалдели. Он мне определённо нравился своей прямоотой. Я даже поймал себя на мысли, что завидую ему.

– Любите вы здесь загадками говорить, Иван Матвеевич. И, надо признаться, красиво у вас это получается. Только яснее от ваших загадок и намёков не становится. Давайте вернёмся к вашему делу. Вот супруга говорит, что вы фамилию собираетесь менять. Это правда?

– Да, хочу поменять.

– Тоже вопрос без ответа?

– Отчего же, расскажу. Расскажу, потому как не раз ещё придётся по кабинетам пройтись и объясниться. В прошлом столетии по церковным метрикам значились мы не Сергеевыми, а Сергиевыми, в похозяйственную же книгу после революции фамилию нашу перенесли с ошибкой – покопался тут на досуге в местном архиве. Хочу дедову фамилию носить, восстановить, так сказать, историческую точность. Вот, собственно, и весь сказ.

– У меня больше вопросов нет, Светлана Семёновна.

– Объявляется перерыв на два часа. Истица, соберите цифры в кулак. Столько-то – ваша зарплата, столько-то – мужняя, такие-то, такие-то нецелесообразные покупки. Сделайте расчёт по месяцам, – и опять ударила молоточком.

От прошлогоднего пребывания в Немском у меня остались самые приятные воспоминания о местной столовой. Для членов комиссии тогда накрывали столы в районной администрации, но я предпочитал обедать в одиночестве – слишком уж натужными были попытки найти общие темы с другими участниками проверки. Скорее всего, причина подобной несовместимости заключалась в солидной разнице в возрасте. Столовая возводилась в советские времена, с широким размахом тех лет. Каждая из букв названия – «Столовая» – была искусно встроена в массивный металлический ромб с индивидуальной чеканкой и представляла собой самостоятельное произведение социалистического авангарда. Заведение занимало весь второй этаж торгового центра (оказывается, строили торговые центры и при прежней власти). Признаться, меня поначалу смутили обшарпанные подносы с отбитыми краями и величественные барельефы на стенах во славу ударного сельскохозяйственного труда. Поваяло призраком подзабытого уже студенческого общепита. Но внешнее ощущение оказалось обманчивым – всё, что побывало на моём столе, было очень вкусно, я каждый день с удовольствием обедал и поновому разглядывал барельефы – мне верилось в довольных комбайнёров и трактористов.

Тогда же я узнал вкус местных маринованных маслят. Похрустывал ими и обещал себе, что приеду летом в эти места по грибы. И вот приехал через год с okazji, приехал за день до процесса, чтобы отвести душу в лесу. Уже с утра я сегодня предвкушал обед в полюбившейся столовой, но после судебного заседания кусок в горло не лез. Аппетит перебили намёки о школе и едкие «господин прокурор». Не нравился мне и общий настрой судьи.

Вместо обеда я решил прогуляться до злополучной школы. За каких-то пятьсот-шестьсот метров мои ботинки изрядно потяжелели от налипшей грязи. Вдобавок ко мне пристал лопухий беспородный пёс – бежал по пятам до самой школы и громко лаял. Частные деревянные дома с резными от широкой вятской души карнизам и наличниками чередовались со сдержанной архитектурой казённых строений. От безликих каменных кубов магазина и лесничества веяло холодком, несмотря на стоящую духоту. Ухоженные же усадьбы настраивали на иной лад – скамеечки у их аккуратных палисадников приглашали присесть и не спеша полюбоваться немскими теремками вблизи.

Фундамент школы за прошедший год ещё больше ушёл вниз. Картинка усугублялась тем обстоятельством, что здание осело прямо посередине. Плиты-перемычки над оконными проёмами на обоих этажах наклонились друг к другу, как тревожно нахмурившиеся брови. Трещины паутиной расплзлись по всей высоте стены, внизу на асфальте валялись выпавшие из кладки серые кирпичи.

С документами при проверке всё было в порядке: экспертиза проекта, лицензии подрядчика, акты скрытых работ, сертификаты на материалы. Чудили, как будто бы тянули время, эксперты – каждый вечер пили пиво и играли в преферанс. Разгорячённые выпивкой, они до полуночи спорили о марках бетона и схеме армирования фундамента, к утру же делались неразговорчивыми и дотошно исследовали грунт.

– Не дают покоя дела минувшие? – рядом со мной неожиданно вырос нескладный долговязый парень лет до тридцати, мой ровесник. Я узнал его – он был среди зрителей в судебном зале – знать, увязался за мной следом.

– Вы что-то хотели?

– Да я спросить хотел. В этом деле ты на стороне Ивана будешь или как?

– Скажем так, слежу за соблюдением его законных прав и интересов.

– Меня Николаем звать, два года назад я работал в логиновской бригаде. От парня одного всё это началось. Пришёл весной в бригаду парень молодой, аккурат это два года назад было. Мы тогда начинали строить большой коровник в Удмуртии, заказчик был денежный, по срокам гнал. Рук не хватало, вот и взял бригадир по рекомендации нового каменщика в коллектив. Разряд у него по бумагам вроде небольшой был, но работал он, я тебе скажу, как бог. Мастерок в его руках такие танцы выплясывал – любо-дорого было посмотреть. Полторы нормы в день он от наших ветеранов давал. В общем, весело работал парень, и всё над нами подтрунивал, мол, без музыки работаете, мужики. Всё предлагал на громкую свои мелодии вывести. Наши мастера ему в ответ: «Молод ещё, салага, пообтешешься жизней, узнаешь, какие марши в ходу». А он – наушники в уши, улыбается и гонит кирпичную кладку по повышенному стандарту. Балкой его придавило. Бригадир ему: «Бойся!», а он... не слышит ведь. Такая вот амба с ним приключилась из-за грубого нарушения техники безопасности. Везли мы его с Иваном в больницу, да не довезли. Держался он молодцом, грудь ему сдавило – продохнуть не мог, тяжело так хрипел, но через силу пытался улыбнуться. Музыка его Иван себе забрал. Говорил – на память, а оно вона как вышло.

Слова выходили у парня ровным рядом, не под стать его нескладной наружности.

– Что же вы никто ни словом, ни полусловом...

– Да никто ничего и не скажет. Сам должен понимать, нету резону в бригаде эту тему ворошить. Очень уж тяжело тогда для бригадира этот вопрос развивался, статья корячилась.

– А ты-то сам что не скажешь?

– Понимаешь, какое дело... Ивану дальше в бригаде работать, сам же слышал – детей надо подымать. А со стоящей работой у нас в районе тяжело! По себе знаю. Такой вот замкнутый круг нарисовался. Только я так разумею: Ивана нынче ненормальным признать – всё одно что отдушину в горячей печи захлопнуть. Ежели так повернётся, он точно угорит.

Аппетит ко мне не вернулся, идти, кроме суда, было некуда. Четверо рабочих облицовывали здание суда рыжим в чёрную крапинку мрамором. Я наблюдал за их слаженной работой – получалось красиво, старенькое строение на глазах преображалось в новое.

Не сказать чтобы у меня имелись склонности так запросто, по-деревенски, заводить беседы. Я и сам удивился своей лёгкости, слова вылетели сами собой:

– А что, ребята, если уволюсь, возьмёте меня недели через три в бригаду подсобным рабочим? Есть вакансии?

Мужики запереглядывались, заулыбались промеж собой, признали повод достаточным для перекура. Они достали сигареты, присели на ящики с плиткой и стали с интересом меня

рассматривать. Видок у меня был так себе. Добрые люди посоветовали пошить прокурорский костюм с запасом, на размер больше. Мол, такова статистика, да и повод одеваться по форме нашему брату выпадает нечасто – «год проходишь, и будет в самый раз». Вопреки прогнозам вес я не набирал, поэтому пиджак смотрелся как с чужого плеча. Ботинки на мне были хорошие, не казённые, но после хождения по местным тропинкам их блеск заметно потускнел.

– Это как бригадир скажет. А, бригадир? Нужен нам такой работник? – рабочие продолжали лыбиться наперебой.

Бригадир, по всему видать, умудрённый опытом, конкретный мужик, в отличие от остальных не был расположен к пустому веселью. Он серьёзно сдвинул клетчатую шерстяную кепку на коротко стриженный затылок и глубоко затянулся. Только когда густой табачный дым вывалил из его широких ноздрей, морщины на большом вспотевшем лбу расслабились:

– Можно...

– Единственно, я с музыкой привык работать. Как у вас в бригаде с музыкой?

– Чудишь ты, право слово, начальник! – бригадир затушил окурок о подошву кирзового сапога и скомандовал продолжать работу.

Пошёл дождь, и дышать стало совсем легко. Я очистил подошвы ботинок о старую заточенную скобу, наверняка оставшуюся здесь с дедовских времён. Поднялся на свежезабетонированное крыльцо под навес, в животе призывно заурчало. Я с надеждой посмотрел на часы, хотя и так знал, что время поджимало.

Лилия Газизова



Лилия Газизова – поэт, эссеист, переводчик. Окончила Казанский медицинский институт и Литературный институт имени М. Горького. Шесть лет проработала детским врачом. Автор пятнадцати сборников стихотворений, вышедших в России, Европе и Америке. Автор публикаций в журналах «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», «Арион» и других изданиях. Переводит татарскую и турецкую поэзию на русский язык. Организатор Международного Хлебниковского фестиваля «ЛАДОМИР» (Казань – Елабуга). Лауреат нескольких литературных премий. Преподает русскую литературу в университете Эрджисес (Турция). Ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия».

Между любовью и землетрясением...

«Меня воспитала закрытая дверь...»

Меня воспитала закрытая дверь
В комнату моих родителей.
Дверь провожала меня в школу.
Она встречала меня
И не задавала вопросы.

Я пробовала обижаться,
Сдерживая всхлипывания.
Дверь безучастно разглядывала меня.

Я росла, дверь не открывалась.
Я перестала смотреть на неё.
Я перестала обижаться.

С тех пор
Прохожу не останавливаясь
Мимо любой закрытой двери.

«Целоваться лучше на фоне гор...»

Целоваться лучше на фоне гор.
Чтобы стать занимательной частью
Высокогорного пейзажа
На радость богам. Предпочтительней
Окрестности вулкана Эрджиес.

Плакать лучше возле воды.
Печаль будет соскальзывать
В непроницаемую глубину.
Так можно выжить.
Плакать лучше в сумерках.

Утешаться лучше у окна,
Выходящего в ночь,
Прижимаясь лбом
К холодному стеклу.
Глаза рекомендуется закрывать.

Если долго глазеть на Эрджиес,
Становишься никем.
Быть может, воздухом
Или криком ребёнка.

Если долго глазеть на Эрджиес,
Однажды захочется заплакать
От любви ко всему живому
И всем, кто не вернётся.

Если долго глазеть на Эрджиес,
Можно помириться с собой.
Проститься со всеми тревогами
И посмотреть наконец на дорогу.

«Так долго смотрели на небо...»

Так долго смотрели на небо,
Что оно стало солнцем.
Охрипшие птицы
Больше не преодолевали
Земное притяжение.
Воздух застыл,
Как турецкий йогурт
После охлаждения.
Траектории падающих предметов
Были причудливы,
Как уши любимого.
Таким запомнится рассвет
Между любовью
И землетрясением.

Высокая рутина

Выйти из комнаты,
Квартиры,
Подъезда,
Дома.

Сесть в машину,
В метро,
На автобус,
На трамвай,
На троллейбус.

Пойти в магазин,
В кафе,
В музей,
В ночной клуб,
В тренажёрный зал,
В бассейн.

Вернуться довольным,
Сытым,
Пьяным,
Уставшим,
Удовлетворённым,
Возбуждённым.

Планировать,

Намереваться,
Предвкушать,
Загадывать,
Предполагать,
Рассчитывать.

Улыбаться ничему.

«Я хочу сидеть...»

Я хочу сидеть
На пожарной лестнице,
Куда убегала в детстве
От мировой несправедливости
В отдельно взятой семье.

Я хочу сидеть
На пожарной лестнице
И думать о чём-то
Очень отстранённом,
Например, о законах физики
Или о трагической судьбе
Марии Стюарт.

Но больше всего
Я хочу сидеть
Без затей
На пожарной лестнице
И думать только о том,
Как не упасть с неё.

«Бестолочь ненаглядная!..»

Бестолочь ненаглядная!
Ты просишь стихов о любви,
В которых рассчитываешь
Обнаружить нас с тобой.

В своей турецкой изоляции
Я проявляю признаки
Прекрасного биполярного –
Впадаю то в смех, то в отчаяние.

Но я могу разучить песенку,
В которой будет много любви,
И спеть её, глядя на тебя

Нравнодушными глазами.

Ещё я пошлю тебе
Фиолетовое сердечко,
А лучше – цветочек,
Который похож на вагину.

«Что стало с поездом...»

Что стало с поездом,
В котором познакомились
Мои родители
Полстолетия назад?
Наверное, свезён в Юдино –
На кладбище поездов.
И стоит на заброшенном пути,
Вспоминая свои лучшие годы.

А может, разобран на части?
Металлические переплавлены
На что-нибудь полезное,
Например, на мост Миллениум.
А деревянные пошли
На обогрев жилища
Сторожа кладбища поездов.

И только маленький болтик,
Маленький ржавый болтик
Закатился (необъяснимо желаю этого)
Куда-нибудь в траву
С поезда, в котором познакомились
Мои родители
Вечность назад.

«Жизнь в турецкой провинции...»

Жизнь в турецкой провинции
Исполнена отрядных смыслов.
Расстояние если не облагораживает,
То отодвигает прошлое
На безопасное расстояние.

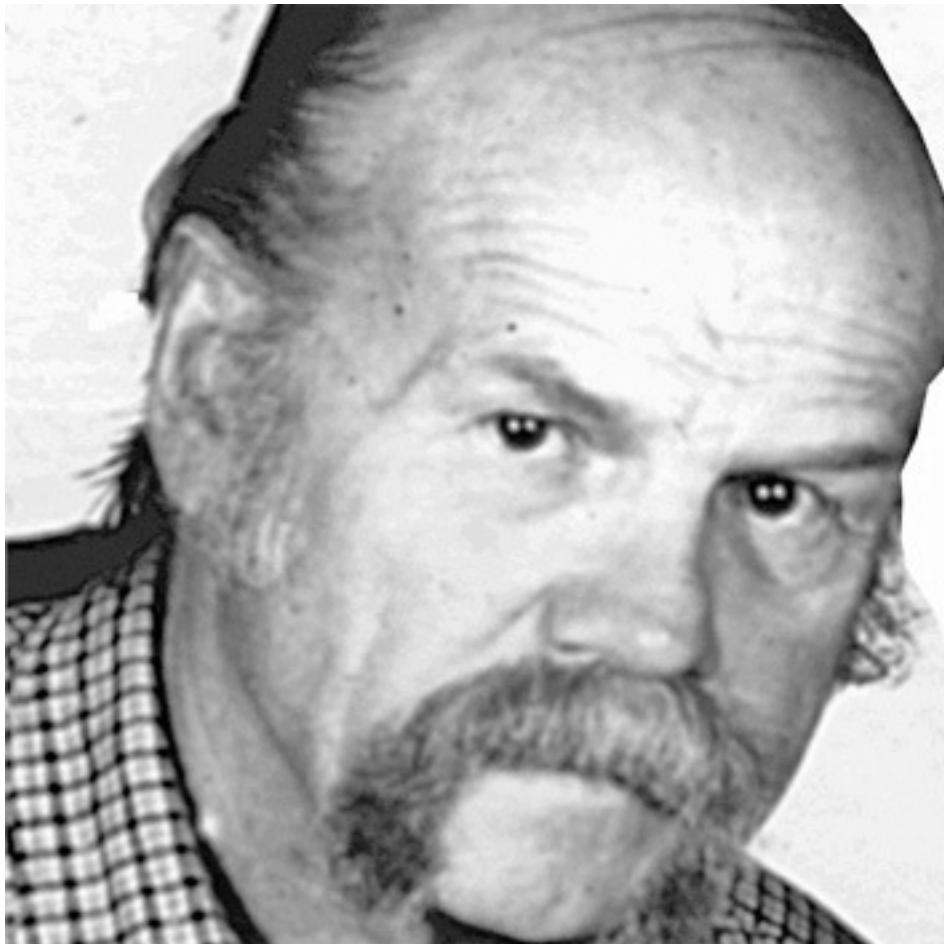
В наличии же потухший вулкан
И город с дивным прошлым,
Которое изучу непременно.
А ещё – много неба

И сказочной безвкусицы...

Порой настигает кручина.
Поплакаться, как всегда, некому.
Приучила себя и других
К своей – как её? – самодостаточности
И разительности своей
(Услышала однажды).

А маяка здесь нет.
И зрителя маяка тоже нет.

Анатолий Санжаровский



Анатолий Санжаровский родился в 1938 году в селе Ковда Кандалакшского района Мурманской области, в семье ссыльных переселенцев. В 1966 году окончил факультет журналистики Ростовского университета. Автор многих книг, в том числе «От чистого сердца», «Сибирская роза», «Пешком через Байкал».

Стакан распятой земли

Повесть без вымысла

*За что судили тех, у кого не было улик?
За их отсутствие.*

Михаил Генин

*На каждом человеке лежит отблеск истории.
Юрий Трифонов*

*Россия!
Тяжело в твоих пределах
Самим собою выживать сейчас:
Повыбили и смелых, и умелых
У нас в роду.*

Когда бы лишь у нас!

Олег Бузулук

Калачеевская ночь

В пятницу семнадцатого марта одна тысяча девятьсот девяносто пятого года померла в Нижнедевицке моя мама. Пелагия Михайловна Санжаровская. (В девичестве Долженкова.)

На похоронах меня поразили своей поэтичностью причитания-плачи её родной сестры Нюры.

Тётя посулилась списать на бумажку свои слова.

Да не списала.

Ждал-пождал я в Москве с полгода и, так и не дождавшись обещанного, сам поехал в августе к тёте Нюре Кравцовой за Воронеж, в степной, сомлелый на солнцепёке городишко Калач.

А под боком у Калача жила Новая Криуша. Отцово родовое гнездо. Столица нашей семьи...

Воронежский поезд приплёлся в Калач уже в сумерках.

Весело выглядываю из тамбура. Улицы не убраны в кумач. Ни знамён, ни гирлянд. На перроне нет духового оркестра. Ни трапа с красной ковровой дорожкой... Ни завалящей ковровой дорожки, ни тётушки.

Никто меня не встречает?

Гм... Куда же мне одному шлёпать в ночь?

У меня ж здесь ни одной знакомой души, кроме тёти...

Хотя...

От вагонных ступенек тихая грусть повела меня в тупичок. «Толик... Толик... – позвал я тихонько себя из далёкого тёплого лета пятьдесят шестого. – Ты чего молчишь? Ты же здесь... Слышишь?... Ты же давно здесь... С той самой поры... Напомнить? Тогда ты впервые поехал один на поезде к бабушке. Сюда, в Калач, а потом в Собацкий. И мама тебе всё наказывала не спать в поезде. Ты всё удивлялся: почему это не спать? Заснёшь – украдут шо-нэбудь, пострадала мама. Но красть было нечего. У тебя была лишь маленькая фанерная балетка, и та пустая. А ты всё одно не спи, стояла на своём мама... И ты пообещал, что не будешь в поезде спать.

До самых Лисок крепился. Не спал. А как сел в Лисках на третий уже за всю твою дорогу поезд, так и заснул на самой верхней, третьей, полке. В Калаче весь народишко высыпался из вагона. Ты не слышал. И состав слился в тупик. Тут, в тупичке, ты проснулся от тишины, выпрыгнул в окно и побежал к вокзалу. А оттуда уже автобусом к бабушке в хуторок Собацкий. С той поры ты остался в Калаче. Семнадцатилетний. В веснушках. Сильный... Отзовись... Помоги мне, старику... Не молчи...»

Но тот Толик, из молодости, не откликнулся, и я, подталкиваемый в спину тёплым неунывающим ветром, побрёл по шпалам назад к тусклым огням вокзала.

Незнамо как я оказался в автобусе и очнулся, когда ко мне подошла кондукторша с билетной сумкой на груди:

– Вам куда ехать, мил гостюшка? – спросила она.

Я пробормотал тёткину улицу.

– Так туда автобусы уже не бегают. Поздно... Переедете с нами через мост и выходите. Мы поедем прямо. А вы идите у левую руку... Малёхо пройдёте по асфальту. А там ещё свернёте в левый бок...

Я шёл и час, и два...
Всё было черно. Куда я мог сворачивать?
Смотрю, где-то уж очень далеко замерцали тоскливые огоньки.
Я засомневался, что это ещё городок Калач, и, постояв, подумав, пошарчился назад.
Я вернулся к той развилке, где выходил из автобуса.
В бетонной плите стоял дорожный указатель.
Я так-таки и в темноте прочитал белые буквы.
Они складывались в Манино.
Манино!
В этом селе жила до замужества бабушка по маминой линии.
Мне стало как-то хорошо, будто я попал в гости к своим.
Я достал из портфеля огрызок колбасы, ломоть чёрного хлеба и, присев на холодный бетон, принялся есть.
Портфель скоро опустел.
Больше из него ничего не достать.
Что же дальше?
Искать гостиницу?
И я поплёлся за мост в слепой, тёмный городок.
Невесть откуда из черноты ко мне вырезался пьяный в корягу мужик и, еле ворочая ватным языком, потребовал:
– Д-дай в з-з-зубы, чтобы дым пошёл!
– Не дам. Не курец я.
– Тогда вып-пить подавай!
– И тут жирный прочерк.
– Кончай попусту греметь крышкой. Не то я тебе рог сшибу!
– И рога у меня нет, – грустно хохотнул я и побрёл дальше.
– Что ж, думаешь, как я под балдой, так дурее пьяного ёжика?.. Найду рог! – погрозились он и затих.
Я брёл по темноте, и тяжёлые мысли бередили душу.
Как же так получилось, что я потерялся, заблудился посреди России? У себя на родине!
Не здесь ли мои корни?
Не здесь ли мой дом?.. Дом моей крови?.. Дом моей души?..
Тогда почему я блуждаю один по этой чёрной ночи?

Я кое-как разыскал гостиничку.
Обветшалая, в один этажишко, она пропаще спала за дощатым глухим забором.
Я постучал в закрытую калитку.
Собака с лаем вылилась из-под ворот, и я еле отбился от неё.
В гостинице не было огней. Всё спало.
Кому я здесь нужен?
Поторчал-поторчал я у ворот и потащился на свет.
Это был телеграф.
Дверь размахнута нараспашку.
Я вошёл и прилип на краешке скамейки у обшарпанного стола.
– Вы случайно не Москву ждёте? – спросила из окошка молоденькая телеграфистка.
– Не Москву...
– А чего тогда ждёте?
– Рассвета.
– А-а-а...

Она ушла.

А я, подложив под голову кепку, лёг на лавку у стены, закрывшись газетой от яркого света большой и голой, без абажура, лампочки.

Я лежал и с горечью вспоминал свои отгорелые дни...

Жители тюрьмы

Первое, что я ясно помню из детства, – это как под гнилыми, малярийными грузинскими дождями родители корчевали на косогорах леса.

Разводили в совхозе-колонии «Насакиральский» чайные плантации.

В этот рабский совхоз-каторгу сгоняли одних репрессированных выселенцев да вербованных. Сначала мы куковали на первом районе (отделении) совхоза.

Потом, сразу после войны, всех рабочих отсюда пораскидали по остальным четырём. Нашу семью перевезли на арбе на пятый район. По пути завезли в центре совхоза в баню – она была в овраге, – где от вшей прожарили одежду и постельное бельё наше, где мы в первый раз вымылись по-настоящему. А так мы обычно мылись, конечно, не в турецком хамаме¹, а дома в корыте или в тазике.

В войну и ещё в долгие годы после её окончания мыла в доме не было. Его заменяла печная зола. Мама насыпала золу в какую-нибудь тряпицу, опускала зольный комок в тазик с горячей водой. Зола «давала сок» – вода мутнела. В этой щелочной воде мы и мылись.

Мы уехали с первого района, и там, в бывших наших гнилых бараках, разместили... колонию.

Мы и не подозревали, что шиковали в тюремных апартаментах.

Жили мы горько.

За всё детство я видел несколько крохотных газетных кулёчков с дешёвыми конфетами-подушечками. И сахар был в большую редкость. Сахар у нас постоянно был только в нашей моче. «Живой сахар». Этим «живым сахаром» мы, пацанва, орошали яблочные пупырышки. Яблоня росла в прижим к нашему барачному окну. С подоконника мы рвали горькие пупырышки, обдавали своим тёплым «живым сахаром», яблочки становились не такими горькими, и мы их ели.

Только в восемнадцать лет я впервые увидел сливочное масло – и то лишь тогда, когда беда прижала к больничной койке.

Отец погиб на фронте. Мама осталась одна с тремя сыновьями. Когда отец уходил на фронт, мама была беременна дочкой Машей. Маша умерла, не дожив и до года.

С темна до темна, без выходных мама ломилась на чаю. По ночам рыла оградительные окопы: мы жили в прифронтовой полосе. И получала за каторжную работу горькие гроши.

Держались мы в основном домашним хозяйством.

Господин Огород. Огород – наша кладовка.

Козы.

Куры.

Поросёнок.

Всё это было на нас, на детях. На мужичках.

Весна.

Надо натаскать на глинистые бесплодные огороды побольше навозу.

А огороды за полторы-две версты на неудобьях, в крутых оврагах, куда чай не воткнёшь. Только бросовые клочки земли и позволяли занимать под огороды. Вприбежку тащишь

¹ Хамам – турецкая роскошная баня.

неподъёмный чувал с навозом, а по тебе течёт чёрная жижа; несёшься по дороге из стороны в сторону. Мешок с навозом тебя ведёт! А остановиться передохнуть боишься. Мешок потом не подынешь.

Притащишь, спустишься на корточки, тихонько вальнёшься назад, не отрывая от спины мешка, и лежишь, отпыхиваешься на нём, выкупанный потом и навозной жижей.

А сеять кукурузу, сажать под лопату картошку...

Казалось всё это самым лёгким и весёлым.

А окучивать, пропалывать... Курорт!

Канары попережку с голубыми Багамами!

Осень-припасиха изматывала нас до смерти.

Кукурузу, картошку, кабаки – всё перетаскай на своём горбу.

А дрова на зиму? Лес ещё дальше огородов...

Мы, ребятня, сами лепили козам сарай. И каждую осень обязательно перекрывали его кугой, обмазывали хворостяные стены глиной, утепляли папоротником. Не мёрзните, наши козушки, в холод! И из бросовых досточек-лоскутков лепили вдоль стен на коротких столбиках широкие лавки козам для отдыха.

– Коза, – уважительно говорила мама, – для нас же, для дураков, старается как! Поки за день набирает по горам молока повну банку – ноги с устали отваливаются. Надо ей по-людски за ночь выпасться ай не надо?

И вот огороды пусты. Сарай в тепле. Дрова натасканы. Гордой горушкой высятся между нашим сараем и соседским плетнём Шаблицких.

Чем заниматься после школы? Уроками?

Не-ет...

Такой царской роскоши мы, маленькие горькие советские рабы, не знали.

Наскоро похлебаешь какой холодной баланды – и бегом после школы к мамушке на чайную плантацию. Собирали чай, формовали чайные кусты секаторами, копали чайные между-рядья, тохали (мотыжили) их, чистили тунг...

Плоды тунга чуть мельче кулака, созревшие в кучах под дождём и снегом. Зимой мы притаскивали в корзинках домой, вываливали эту вонь посреди комнаты, и вся семья с утра до ночи колупалась в этой грязи, вышелушивала из скорлупы зёрна величиной с голубиное яйцо.

Весь этот тяжкий труд детей – какой-никакой доварок к маминому копеечному заработку. Надо ж и учебники купить. Надо ж и грешный зад прикрыть чем...

С чаю приползали усталые уже в потёмочках.

Пока уберёмся с живностью (я часто помогал маме доить коз), пока то плюс сё – мало ль всякой беготни по дому? – уже полночь.

Вот и прикатило время садиться за уроки.

Комната у нас на четверых была всегда одна. (А до войны, когда жив был отец, нас было пятеро.) Сначала в бараках с плетёнными хворостом стенами, обмазанными глиной и побелёнными, потом в новом, в один этаж, каменном доме. Всегда одна. Все тут же уже спят под сильной голой лампой. А ты готовишься к завтрашней школе. Не заметишь, как и сам уронишь голову на единственный – он и обеденный, он и учебный – стол и мигом отрубисься.

Мама проснётся и увидит, мягко шатнёт за плечо:

– Иди, сынок, раздевайся та ложись...

А чаще бывало так. Что подремал на раскрытом учебнике, то и весь твой сон. Мама качнёт за плечо. Ты вскочишь и быстрее раздеваться на бегу к койке. А она горько улыбается:

– Не, сыно, тоби треба зовсим у другу сторону, – и показывает на дверь: за окном уже разлился свет дня. Надо собираться у школу.

Школа для нас была всегда большим праздником.

И вовсе не потому, что там нам что-то клали в голову. Во все по другой причине. В школе мы могли за полдня хоть малёхонько отдышаться от домашней каторги.

И даже вздремнёшь когда на уроке – всё отдохновение!

Пастушонок

Сижу я на уроке. А голос учителя забивают жалобные плачи коз и козлят.

Я был самый младший в семье. Братики Гриша и Митя жалели меня, доверяли самое лёгкое – пасти козлят и коз. И я пас лет с четырёх и до окончания начальных классов. После я делал всякую работу, что и они. А пока я отвечал только за козье пропитание. Покуда я прохлаждался в школе, козки мои в плаче голодно покрикивали под крючком в сарае. Всё звали меня.

Мы жили на пятом районе совхоза «Насакиральский». А школа была в центре. Туда четыре километра я шёл. А назад уже бежал. Нигде не задерживался.

Добросовестный был я пастушок.

До самой ночи бродишь с табунком по кручам-оврагам, пока не раздуются мои рогатики как бочки. Идут назад, еле ноги переставляют. Ох-ох, ох-ох... Тяжело-о...

А у самой дороги зеленел чайный участок тёти Насти Сербиной, маминой товарки.

Как-то раз тётя Настя горестно посмотрела из-под зелёного пука чаинок в кулаке и говорит мне:

– Что ж у тебя, пастух, козы с пастьбы еле бредут в голодухе? Смотри, бока позападали!

– Вы не на те бока смотрите! – кричу я чуть не плача. – Вы что, не знаете, что у коз один бок всегда немноженько пустой?! С ямочкой! Зато друго-ой!..

И круто заворачиваю стадушко.

Гоню назад мимо тёти Насти:

– Смотрите! Смотрите! Те бока были неправильные! А эти... Вот! Совсем полные-рас-полные бочищи!

– Теперь вижу. Полные. Гарно напас. Молодэць!

И я затих в гордости...

После этого случая стал я стесняться тёти Насти. Бывало, во всяк вечер, как гонишь мимо её участка стадо из лесу, угинаешь голову. А они с дядей Петей бросят рвать чай и ну нахваливать дуэтом:

– Молодэць, пастушонок! Гарно напас коз... Боки полнюхи...

А ты со стыда ещё круче утягиваешь голову в плечи.

«То с одной стороны полные. А на другом боку наверху у всех ямки. Господи! Неужели им лень так наестся, чтоб не было ямок? И всё б горюшко!»

Однажды разгромный дождь напал на меня с моим рогатым табунком.

Бежим домой.

А тётя Настя пережидала беду под придорожной ёлкой. Увидала меня. Зовёт:

– Скорей-ко сюда, вихревейка! Я закрою тебя от дождя. Ты ж весь мокрей воды! У тебя ж только, може, ну под мышками и сухо!

Она встречно распахнула полы большого старого пиджака. И я с разбегу влетел в её тепло, как в жаркую комнату.

Я плотно прижался к ней спиной.

Два тёплых бугорка мягко обняли меня за плечи.

Она застегнула свой пиджак у меня на животе. Я выглядывал из её пиджака, как цыплёнок из сумки.

Погладила меня по мокрой руке:

– Маленький пастушонок... Совсем мокренький... Совсем холодненький...

И заплакала.

Начальную школу я кончил с отличием.

Меня даже сняли на школьную доску. Почёт тебе, дорогуша!..

Куряка

Темнота тоже распространяется со скоростью света.

Л. Ишанова

Избирательность памяти коварна. Не помню я ни лица, ни имени учительницы, научившей читать, писать. Зато расхорошо помню другого своего первого учителя. По курению. Точно вчера с его урока.

Васька!

Лохматый двадцатилетний лешак. Таскал и в лето, и в зиму неизменно по две фуфайки. Всаживал одну в одну. Как матрёшки. И круглый год бегал в малахае. Это-то на Кавказе! (Дело пеклось в местечке для репрессированных выселян Насакирале, на самой макушке Лысого косогора.)

Васька был большой бугор (начальник).

А я – маленький.

Васька пас коз, я пас козлят. С мая по сентябрь, конечно. В каникулы.

В рабочей обстановке мы не могли встречаться, хотя производственная необходимость в том и была. Сбежись наши стада, это чревато... Вернутся козы домой без молока.

У Васькиных коз и у моих козлят были прямые родственные связи. Как говорил Васька, это была кругом сплетённая родня.

Однако в обед, когда наши табунки порознь дремали в прохладе придорожных ёлок, мы с Васькой сходились на бугре. Третьим из начальства был Пинок, важный Васькин пёс с добрым лицом. Всегда держался он справа от Васьки. Был его правой рукой.

Козы были по одну сторону бугра, козлята – по другую. Они не видели друг друга. Зато мы с Васькой видели и тех и других. У хорошего пастуха четыре глаза! И если уж они паче чаяния кинутся на сближение, им другого пути нет, как только через наши трупы.

Ну разве мы допустим их воссоединение?

И вот однажды в один из таких обеденных перерывов – было это в воскресенье тринадцатого июля 1952 года – мы сошлись. Запив полбуханки глиноподобного кукурузного хлеба литром кипячёного молока из зелёной бутылки, посоловельный Васька – а было так парко, что, казалось, плавилась мозги – разморённо вставил себе на десерт в угол губ папироску. С небрежным великодушием подал и мне.

Я в страхе попятился. Спрятал руки за спину.

– Ты чего? – удивился Васька. – Кто от царского угощения отпрыгивает по воскресеньям?

– Я не к-кур-рю... – промямлил я оправдательно.

– А-а-а! – разочарованно присвистнул Васька. – Вон оно что! Мамкин сосунчик! Долго ж тебя с грудного довольства не спихивают. Сколько тебе?

– Тринадцать.

– Уже все тринадцать! – Васька в панике пошатал головой. – Какой ужас!.. Во! – Васька щёлкнул пальцем по газете, в которую был завернут оставшийся после обеда шмат чахоточно-жёлтого кукурузного хлеба кирпичиком. – Вон шестилетний индонезийский шкеток Алди Ризал в день выкуривает по сорок сигаретин! Учись! О мужик! А ты?.. Тоскливый ты кисляй...

Васька лениво мазнул меня пальцем по губам.

Брезгливо осмотрел подушечку пальца. Вытер о штаны.

– Мда-а... Молочко ещё не обсохло. Мажется, – трагически констатировал он. – Несчаст-
ный сосунчик!

Это меня добило.

Я молча, с вызовом кинул ему раскрытую руку.

Он так же молча и державно вложил в неё «ракетину».

– Хвалю Серка за обычай. Хоть не везёт, дак ржёт! – надвое выпалил Васька.

Что он хотел этим сказать? Что я, дав вспышку, так и не закурю? Я закурил. Судорожно
затянулся во всю ивановскую. Проглотил. И дым из меня повалил не только из глаз и ушей, но
и изо всех прочих щелей. Я закашлялся со слезами. Во рту задрало. Точно шваброй.

– Начало полдела скачало! Всё пучком! – торжественно объявил Васька. И мягко, певуче
вразумил: – Всякое ученье горько, да плоды его сладки...

– Когда же будет сладко? – сквозь слёзы просипел я.

– Попозже, милок, попозже, – отечески нежно зажурчал его голос. – Не торопи лоша-
док... Надо когда-то и начинать... А то ты и так сильно припоздал. У меня вона куревой
стаж о-го-го каковуший! Я, говорила упокойница мать, пошёл смоктать табачную соску ещё в
пелёнках. Раз с козьею ножкой уснул. Пелёнки дали королевского огня. Еле спасли меня... Кто
б им тепере и пас коз?.. А вызывали, – Васька энергично ткнул пальцем в небо, – пожарку из
самого из центра! Жалко... С пелёнками успел сгореть весь дом, а за компанию и два соседних.

Его героическое прошлое набавило мне цены в моих собственных глазах.

Я угорело зачадил, как весь паровозный парк страны, сведённый воедино.

– Это несмываемый позор, – в нежном распале корил Васька, любя меня с каждой мину-
той, похоже, всё круче, всё шальней. – В тринадцать не курить! Когда ж мужиком будем ста-
новиться? А? В полста? Иль когда вперёд лаптями понесут? И вообще, – мечтательно произнёс
он, эффектно отставив в сторону руку с папиросой, – человек с папиросиной – уважаемый
человек! Кум королю, государь-дядя!.. Человека с папироской даже сам комар уважает. Не
нападает. За своего держит! Так что кури! Мож, с куренья веснушки сойдут да нос перестанет
лупиться иль рыжины в волосе посбавится... Мож, ещё и подправишься... А то дохлый, как
жадность. Вида никакого. Так хоть дыми. Пускай от тебя «Ракетой» воняет да мужиком! –
благословил он.

А я тем временем уже не мог остановиться. Прикуривал папиросу от папиросы.

Васька в изумлении приоткрыл рот. Уставился на меня не мигая.

– Иль ты ешь их без хлеба? – наконец пробубнил он.

Он не знал, то ли радоваться, то ли печалиться этаковской моей прыти.

На... – й папиросе у меня закружилась голова.

На... – й я упал в обморок.

Васька отхлестал меня по щекам.

Я очнулся и попросил курева.

– Хвалю барбоса за хватку! – ударил в землю он шапкой. – Курнуть не курнуть, так чтобы
уж рога в землю!

До смерточки тянуло курить.

Едва отдохнул от одной папиросы, навалился на новую. Мой взвизранный энтузиазм
всполошил Ваську:

– Однако... погляжу, лихой ты работничек из миски ложкой. Особо ежли миска чужая...
По стольку зараз не таскай в себя дыму. Не унесло бы в небонько! Держи меру. Не то отдам,
где козам рога правют.

Не знаю, чем бы кончился тот первый перекур, не поднимись козы. Пора было разбе-
гаться.

– Ну... чем даром сидеть, лучше попусту ходить. – Васька усмехнулся, сунул мне пачку
«Ракеты». – Получай первый аванец. Ребятишкам на молочишко, старику на табачишко!

Пачки мне не хватило не то что до следующего обеда – её в час не стало.

На другой день Васёня дал ещё:

– Бери да помни: рука руку моет, обе хотят белы быть. Ежели что, подсобляй мне тож, чем спонадобится.

Я быстро кивнул.

Каждый день в обед Васёня вручал мне новую пачку.

Так длилось ровно месяц. И любня – разохлась!

Я приручённо подлетел к Васёне с загодя раскрытой гробиком ладошкой за божьей милостынькой.

Васёня хлопнул по вытянутой руке моей. Кривясь, откинул её в сторону и лениво посветил кукишем:

– На тебе, Тольчик, дулю из Мартынова сада да забудь меня. Ну ты и хвостопад!² Разоритель! Всё! Песец тебе!.. Испытательный месячину выдержал на молодца. Чё ещё?..

– Чирей на плечо! – хохотнул я.

– Перетопчешься! Ноне я ссаживаю тебя со своего дыма... Самому нечего вот соснуть. Да и... я не помесь негра с мотоциклом. Под какой интерес таскай я всякому сонному и встречному? Кто ты мне? Ну? – Он опало махнул рукой. – Так, девятой курице десятое яйцо... Я главно сделал. Наставил на истинно мужеский путь. Мужика в тебе разбудил... Разгон дал! Так ты и катись. Наверно, ты считаешь меня в душе быком фанерным³... Считай. Меня от этого не убудет. Добывай курево сам! Невелик козёл – рога большие...

Этот его выбрык выбил меня из рассудка.

– Василёк!.. Не на что покупать... – разбито прошептал я.

– А мне какая печалька, что у тебя тонкий карман? Меня такие вещи не прокатывают! Крути мозгой. Не замоча рук, не умоешься... Ты про бычарики⁴ слышал?

Стрелять хасики⁵ у знакомых я боялся. Ещё дошуршит до матери. Стыда, стыда... К наезжим незнакомцам подходить не решался. Да и откуда было особо взяться незнакомцам в нашей горной глушинке?

А подбирать чужие грязные обкурки...

Ой и не царское ж это дело, Никифорович!

Не получив от Васьки новой пачки, я в знак вызова – перед гибелью козы бодаются! – двинул зачем-то козлят в обед домой. В наш посёлочек в три каменных недоскрёба.

Уже посреди посёлка мне встретилась мама. Бежала к магазинчику Сандро за хлебом.

Я навязал ей козлят. А сам бросился в лавку. Радость затопила душу. В первый раз сам куплю! Накурюсь на тыщу лет вперёд! Про запас!

На бегу – в ту пору я всегда бегал, не мог ходить спокойным шагом – сделал козу из замытой дождями старой записки на двери: «Пашол пакушать сацыви в сасетки. Жды. Нэ шуми. Сандро» – и ветром влетел в лавку.

Денег тика в тикю.

На буханку хлеба да на полную пачку «Ракеты»!

Сандро в раздумье выпустил из себя дымный комок и, заслышав от меня о «Ракете», жертвенно свёл руки на груди. Из правой руки у него бело свисал, едва не втыкался в прилавок длинный тонкий, съеденный хлебом нож, похожий на шашку. Этим ножом Сандро резал хлеб, который продавал.

² Хвостопад – человек, который любит за чужой счёт поживиться и развлечься.

³ Бык фанерный – глупый молодой человек.

⁴ Бычарик – окурок.

⁵ Хасик – окурок.

– Вах! Вах!.. – сломленно изумился Сандро и забыл про папиросу в углу губ. – Ты, – он наставил на меня нож, – хочу кури?.. Кацо, ти слаби... Муха чихай – ти падай!.. Тбе кури неможно... От кури серсе боли-и, – опало поднёс руку с ножом к сердцу. – Почка боли-и, – болезненно погладил бок, – голова боли-и, – обхватил голову, в стене пошатал. – Любофа... дэвочка нэ хачу... Нэ нада близько... Нэ нада далэко...

Сандро свирепо сшиб ногтем мизинца шапку нагара с папиросины. Яростно воткнул её снова в рот.

– Вот ти на школ отлишник... Истори знай... Полтищи лэт назад в Англии и в Турции курцам дэлали «усекновение головы». Простими словами – башка долой к чёртовой маме! На Россия курцов учили палками. Нэ помогало кому – смэртни казн добавляли. И луди всё бил крепки, всё бил здорови. Дуб! Дуб! Дуб всё!.. И пришла на цар Пэтре Пэрви... Покатался по Европэ да превратился в заядли курильщик. Пэтре позвала мужик. Сказал: «Кури! Нэ будишь кури – давай башка сюда мнэ! – Сандро ласково поманил пальцем, позвал: – Дурной башка секир буди делат!» И всё эсразу кури-и-и, кури-и-и... Сонсе за дим пропал!.. Сама Пэтре много кури-и-и, кури-и-и... Сама Пэтре от кури тожэ на Мелекедур пошла... – скорбно сложил руки, как у покойника. – А бил Пэтре, – Сандро с гурийским неуправляемым темпераментом зверовато прорычал, размахнул руки на весь магазин, показывая, какие разогромные были у Петра плечищи; угрожливо рыкнул ещё, вскинул руки под потолок – экий махина был Пётр! И сожалеюще, пропаще добавил: – А табак секир башка делал Пэтре! Нэ смотрел, што на цар бил...

Сандро помолчал и убеждённо закончил свою речь, воздев в торжестве указательный палец:

– Табак силней на царя!

С минуту простояв в такой монументальной позе, Сандро твёрдо, основательно пронёс белый нож туда-сюда в непосредственной близости от моего носа, медленно, злобно пуская слова сквозь редкие и жёлтые от курения зубы:

– Нэт, дорогой мой, поэтому ти «Ракэт» нэ получишь. «Ракэт» я отпускаю толко лебедам... двойешникам. У них ум нэту, на них паршиви «Ракэт» не жалко. На тбе паршиви «Ракэт» жалко. Ти отлишник. У тбе чисты ум. Ти настояшии син Капказа! Син Капказа кури толко «Казбеги»!

Я считал, что я вселенское горькое горе своих родителей. А выходит, я «сын Кавказа» и должен курить только «Казбек»! Чёрт возьми, нужен мне этот «Казбек», как зайцу махорка!

Да выше Сандро не прыгнешь. И вместо целой пачки наидешевейшей, наизлейшей «Ракеты» он по-княжьки подал мне единственную папиросину из казбекского замеса.

Чтобы никто из стоявших за мной не видел, я обиженно толкнул папиросу в пазуху и дал козла. Быстрей ракеты домой. Только шишки веют.

Папироса размялась. Я склеил её слюной. Бухнулся на колени, воткнул голову в печку и чумово задымил. С минуты на минуту нагрянёт маманя с водой из криницы в каштановом яру. Надо успеть выкурить!

Едва отпустил я последнюю затяжку – бледная мама вскакивает с полным по края ведром.

– А я вся выпужалась усмерть... Дывлюсь, дым из нашей трубы. Я налётом и чесани. Заливать!

Она обмякло усмехнулась. С нарочитой серьёзностью спросила:

– Ты тута, парубоче, не горишь?

Я сосредоточенно оглядел себя со всех сторон. Дёрнул плечом:

– Да вроде пока нет...

Мамушка смешанно вслух подумала:

– Откуда дыму взятсья? Печка ж не топится...

И только тут она замечает, что я стою перед печкой на коленях.

– А ты, – недоумевает, – чего печке кланяешься?
– Да-а, – выворачиваюсь, – я тоже засёк дымок... Вотушки смотрю...
Мама нахмурилась. Подозрительно понюхала воздух.
– А что это от тебя, як от табашного цапа, несёт? – выстрожилась она.
– Так я, кажется, козлят пасу. А не розы собираю...
Еле отмазался.

Так как же дальше?

Переходить на подножный корм? Подбирать топтанные басики?⁶ Грубо и пошло. Не по чину для «сина Капказа». Покупать? А на какие шиши?

А впрочем...

Я не какой-нибудь там лодырит. Не кручу собакам хвосты, не сбиваю баклуши. В лето хожу за козлятами. За своими, за соседскими. Соседи кой-какую монетку отстёгивают за то матери. Могу я часть своего заработка пустить на поддержание собственного мужского достоинства?

«Ракетой» я б ещё с грехом пополам подпёр своё шаткое мужское достоинство, будь оно неладно. И зачем только раскопал его во мне преподобный Василёчек? А на «Казбек» я не вытяну. Да и как тянуть? Из кого тянуть? Нас у матери трое. Каждая копейка загодя к делу пристроена. Каждая аршинным гвоздём к своему месту приколочена. Ни Митюшок, ни Гришоня не курят. Они-то постарше. Отец вон на войну пошёл, погиб, а тоже не курил. А что же я?

Папироска из пачки с джигитом в папахе и бурке была последняя в моей жизни. Была она ароматная, солидная. Действительно, когда курил её, чувствовал себя на полголовы выше.

Страшно допирала, припекала тяга к табаку. Однако ещё сильнее боялся я расстроить, огневить матушку, братьев.

Во мне достало-таки силы не нагнуться к земле за бычком. Достало силы не кинуться с рукой к встречному курцу.

С тех пор так больше и не закурил...

Утро в калаче

За галопными воспоминаниями детства быстро отлетела чёрная калачеевская ночь.

Уже плотно рассвело, когда вышел я из почты.

Уютный, смирный городок ещё спал.

Калач...

Если смотреть сверху, он и впрямь на калач похож. Невесть откуда на безбрежной равнине вздыбился, будто хлеб при выпечке, невысокий холмок. На вершинке меловой карьер. Он припудривает всё окрест. На склонах – дома, дома, дома. По-за дворами окраины, будто стыдась шумливых улиц, тихонько льётся сонливая речушка Подгорная.

Безмятежный русский городок.

Я бродил по сонным улочкам и ненароком выбрел к гостинице, где в ночь меня отогнал от ворот жестокий лай.

И сейчас, снова оказавшись у знакомых ворот, я вздрогнул, когда из-под калитки ко мне степенно вылился пёс. Я хотел было уже отскочить, да не успел. Пёс не спеша, солидно подошёл ко мне и державно подал лапу.

Комок подступил к горлу, я пожал её.

Он укорно посмотрел на меня, как бы говоря:

«Человек ты вроде хороший. Да чего лезть к нам в ночь? Чего мешаешь покою?»

– Я тоже шёл к покою...

⁶ Топтанный басик – окуроч, подобранный с земли.

Он зевнул:

«Так приходил бы раньше, и я не шумел...»

Мало-помалу городок просыпался.

Редкие прохожие в поклоне здоровались со мной. С незнакомцем.

Этот чудный русский обычай привечать незнакомца тронул меня. Я подумал: может, не такой уж я тут и чужак?

Кто ж чужой у себя на родине?

На остановке мне охотно расписали, как добраться до моей тётушки.

Подпылил мой автобус.

Однако я не сел в него. Вдруг нарешил сперва заскочить в архив, узнать, что ж такого известно о корнях нашего рода.

На площади я скобкой обогнул Ленина с протянутой рукой, усердно уработанной голубями. Голуби не забыли и про его голову.

В администрации района архив ютился на первом этаже.

Я ожидал чего угодно, только не этих ледяных строк из чёрно-грязного пыльного талмуда о том, что нас в тридцатые годы кулачили. В Новой Криуше было раскулачено четыреста двадцать четыре человека!

Но разве это полный «расход»? В одном лишь тридцатом году был расстрелян сто девяносто один человек по «списку ликвидированных кулаков как класса по Ново-Криушанскому сельсовету».

Основание: Ф. 20, оп. 1, д. 2, лл. 10-13, 15-18, 23.

По «списку кулаков по Ново-Криушанскому с/с по состоянию на 1 мая 1931 года значится 56 глав семей и 175 членов семьи».

Основание: Ф. 20, оп. 1, д. 5, лл. 1-4.

В 1916 году в Криуше было 1105 дворов, жило в них 7524 человека. В январе двадцатого было 8624. А в двадцать девятом проживало уже более десяти тысяч! Но к 1941 году уцелело лишь восемь тысяч.

То постоянно шёл рост населения. А тут такой спад... В чём причина? Репрессивная коллективизация сожрала?

Так, скажете, началась война. На войну ушло 850 мужчин. Погибло 378.

А где остальные криушане?

И это лишь в одном-единственном селе!

А по стране?

На стук в калитку из сарайки выскочила тётушка.

Увидев меня, она на пол-Калача раскинула для объятий длинные крепкие мужицкие руки – была она высокая, костистая, какая-то громоздкая – и, качая головой, враспев затянула:

– Та хто ж цэ к нам приихав?! Сам Толик! Ты ли, чё ли! О дела!.. Та проходи! Проди!

Ты не к чужим приихав – к ридной тётке! Ты чё не написав? Я б тебя встрела не у калитки. К самим вагонным порожкам прибигла б с расписным половичком та с гармошкой!

– Как не написал? – опешил я. – Ещё полмесяца назад!

– Хотешко...

Тётушка покосилась на ржавый почтовый ящик на ветхой калитке и детски просияла:

– Та вон же оно в дырочки выглядае-смиеться!

Она открыла низ ящичка. Моё письмо в паутине выпало ей в блёсткую от мотыги широкую ладонь.

– Мне никто не пише, – пожаловалась тётушка. – Я в ящичек и не заглядаю... Вот так у нас! Как мы по-стахановски молотим! Сначала встречаем. А потом получаем просьбицу встретить. Раньше письма встрела!

– Да-а... – усмехнулся я.

– А шо? Не совстрела? Я кого только шо обнимала-циловала? Некупаного таракана соседского?.. Ну, покандёхали⁷ у хатынку.

По тропке между грядками лука, чеснока, огурцов тащимся к халупке, откуда только что выпихнулась тётушка.

– Конешно, у меня не кремлёвски хоромищи. Летний дождюху переждать-таки можно... Лиса вон под бороной дождь пережидала и никому не жаловалась.

– Лиса если не в поле, так в лесу...

– А мы не в лесу? Люди – дрему-учий лес... Толкнут со скалы, а потом говорят – сама свалилась... Я баба здорова и свою хаточку сама гандобила. Тогда я с Алёшкой в разбеге була... Где шо выпросю, где шо бросове подберу... Я ни копейки в свою хатюшку не воткнула! Сама как могла слепила. Вотонько и царюю. Алёшка назадки уже на готовенькое приполз...

На нутряном свином жиру тётушка нажарила огромную сковородищу картошки. Жиру она так много положила, что картошка не жарилась, а варилась в нём.

– Ну как там Москва? Шикую?

– Да-а...

– Зараз хоть шо из продуктов явилось... А то... Ну бесновати коммуняки! За семьдесят годив зробылы нам полную голодную жизнь. Выкинут ли прелое пшено иля вонючую ливерку – очередяки ну! Драки! Штурм Зимнего!.. Тилько шо без выстрела «Авроры»... Коммуняки думали, шо с лодырями та с мордохватами зроблють гарну жизнь. И не дотумкали своей неотремонтированной бестолковкой, шо «добро должно быть с кулаками... в крайнем случае с середняками!»

За картошкой она прочитала моё письмо и кинула его на подоконник:

– Значит, Толик, за песнями приихав? Я и не знаю, шо те сказать... Я ж над покойником причитаю – сама не помню шо...

– Это как?

– Я и сама не знаю, откуда ко мне слова бегут. Они бегут на язык, спотыкаются. Я тольке успеваю прокрикиваю. А спреси минутой посля, я и не скажу, чего я выла-говорела...

– Вот маму хоронили... Вы дома, потом на машине, потом уже на кладбище причитали... Можете повторить? Я б записал...

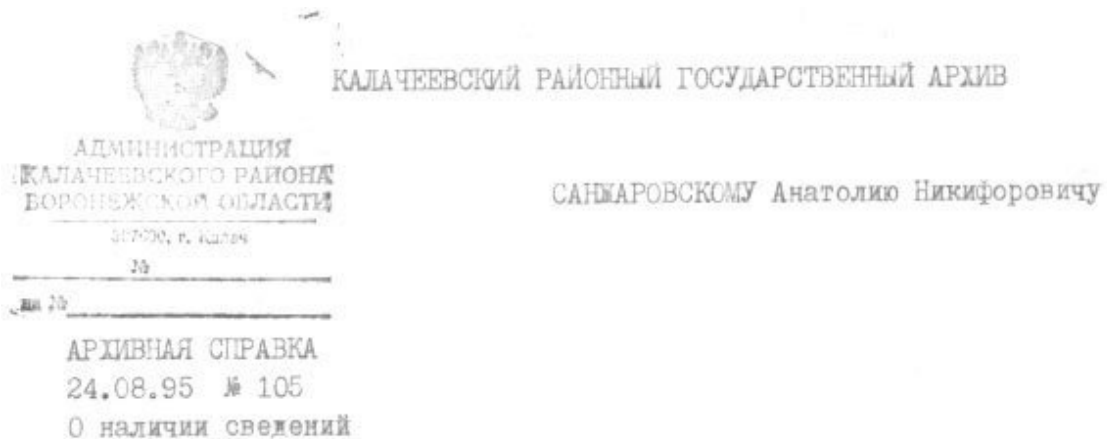
– О не! Прийшло и гэть ушло! В скрынке, – она постучала себя тяжёлым крюковатым пальцем по виску, – ничегошеньки не осталось. Пуста...

– Ну и... Тут песня пострашней...

Я достал из портфеля и отдал тётушке ворох бумаг.

Тётушка сразу же накинулась читать их вслух:

⁷ Кандёхать – идти медленно.



В архивном фонде Новокриушанского сельского Совета в протоколе сельской избирательной комиссии при Ново-криушанском сельсовете Калачеевского района, Воронежской области от 21 октября 1934 года постановили лишить избирательных прав:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 81. САНЖАРОВСКИЙ Никифор Андреевич | - кулак |
| 82. САНЖАРОВСКИЙ Пелагея М. | - жена кулака |
| 83. САНЖАРОВСКИЙ Андрей Дмитриевич | - кулак |
| 84. САНЖАРОВСКАЯ Мария Андреевна | - дочь кулака |

Основание: ф.20, оп.1, д.12, л.5,6

Управляющий делами
администрации района

Заведующая архивным отделом



В.В.Юдина

В.Н.Скрипникова

Прочитала, горько покачала головой. Хотела что-то сказать, но я опередил её слова:
– Протокол длинный. Смотрите следующие листы. Я сам выписывал...
– Горько всё это читать... Ну да шо ж, – и опустила глаза на новую выписку:
– Значится: «Список военнообязанных, состоящих на учёте тылового ополчения Н. Криушанского с/с (лишенцев)

5. САНЖАРОВСКИЙ Никифор Андреевич, родился 4 февраля 1908 года, место жительства Новая Криуша.

Восстановлен в избирательных правах. (Пометка красным карандашом сделана после.)

Основание: фонд 20, опись 1, дело 5, листы 26, 28».

Молча тётушка немного передохнула, и унылая, скорбная читка продолжалась.

В слехе тётушка дочитала и облила меня пасмурно-благодарным светом:

– Ты слегчил мне душу... Теперько ты знаешь всё, и мне ани нечего от тебя прятать...

– Как же так? – недоумевал я. – За всю жизнь мама даже не сказала, что нас кулачили.

Почему она скрывала это от нас? От трёх сынов своих?

– Раскулачили ваших и выкинули на спецпоселение на север за то, что ваши отказались вступать в колхоз. И это Поля скрывала не только от вас, от своих детей. Скрывала ото всех.

Мне она сказала лише два года назад, як в последний раз гостювала у мене... Моя сестричка Поля хватила лиха через крайку... Не подай Господь такой жизни никому! В последнюю приездку всё корила себя: «Одинокая, как палец... Дура! Дура я!» – «Да какая ж ты дура? – говорю. – Бесправная... В беспросветной нищете вытащила в люди три таких хлопча! Ну! Одна подыми!» – «Сады посохли, быки подохли, а я дурой осталась... Баба без мужика – кругом дура!»

– Про какие сады? Про каких быков речь, тётъ Нюр?

– А-а-а... Она наточно вам не говорела... За нею в Собацком уход нёс один парубок... Махонин... Серёга... Сбиралась за него... А тут выскочи на горизонтий Никифор. Батько ваш. Родительцы и погнались за Никишкой: «Там домяка якый! Царский! Быков четыре пары! Две лошади! Две коровы! Одна телега!.. Свои один плуг, одна борона... Земли одной надельной десять десятин да восемь арендной! Сады какие!.. Что его и гадать, жизнь уживёте без сучка без раздоринки!» И свезли её в Новую Криушу под венец с Никишей. А крутнулось – ни садов, ни быков, ни Никиши. Под свой венец увела Никишу война. А Махоня после войны в царский чин впрыгнул. С тремя хуторскими классами целыми районищами рукойводил! И в том же вашем Евдакове був бредседателем райисполкома...

Я не знал, что говорить.

А тётя продолжала:

– И наказала Поля, шоб я про раскулачку да про вашу высылку на север та в Грузинию вам ничё не болтала. Ей сверху велели молчать. Расписки про то от неё с Никишей взяли... Почти всю жизнь промучилась на чужине... А чужина немила, чужина без огня пече... Почти весь век душа в ярме... Шесть десятков лет в дрожи молчала!

– А зачем?

– А затем, шо она с Никифором шэ на севере, в Ковде, дали подписание, шо никому не скажут и никто из них никогда и на миг не вернётся сюда, в ридни места, у Нову Криушу иль у Собацкий. Колы була у мене, она вечёрами выбегала в посадку и часами крадкома выглядувала по-за деревьями на криушаньску дорогу... Зачем? А хто зна... Мож, просто кортелось глянуть хоть тайком на кого из Криуши? Та и шо там побачишь в ночи? И лише в последний наезд она насмелилась и ночью полем жиманула к Криуше. С бугра до первого света смотрела на свою Криушу. Криуша в низинке так, в долинке-ямке... Наревелась и полем, полем прибигла сестричка Поля назадки ко мне.

– Всю жизнь... все шестьдесят лет оттрястись в страхе... Сколько помню, я постоянно видел этот страх в ней. В печальных глазах вечно толклось ожидание беды. Теперь я понимаю, почему она даже запрещала записывать за нею всякие её житейские истории. Боялась, что отнесу в кагэбэрию?! Даже своего сына боялась! Как же так надо запугать человека?! Уже ж три года назад пала советская власть! СССР закрылся! Чего таиться?

– А советска власть, эта бандитка Софья Власьевна, шёлково так припугнула, шо пускай её уже и нэма, а и в гробу будешь от её ласки дрожать. Хороша... хороша советска власть, тилько дуже довго длилась... Боялась сестричка Поля за вас. Боялась, как бы вам не утворили чего... Страшен кровавый оскал ласковой властьюшки... Всю державу репрессиями гнали в коммунизм... Почитай, за так в совхозе арабили... Беломорканал, Ростсельмаш... Кто строил? Репрессированные. Та чёртова власть всю вашу семью переехала! Она як голодный волк. А волк шо наслунит, то и отхватит да слопаёт! Ох, беда... Беда, как полая вода. Польёт – не удержишь... Смотри... вот ваш батько... какой ни «кулак», лишенец, а родину защищал отважисто. Рядовой, стрелок... И погиб он от немецкой пули? Да его голодом на войне задушили! Кого пометила чёрным крестом эта дорогая любящая власть – будет горячо целовать, пока не запихнёт под гробовую доску! С фронта с чем ваш батько загремел в госпиталь? С ожогом гудроном трёх первых пальцев правой стопы! Ожог был второй степени. И разве он от ожога помер? От каких-то других ран? Болезней? «Умер от истощения»! Разве, – тряхнула она лист-

ком, – не тебе это ответил на твой запрос медицинский архив Министерства обороны? Лежал батько в госпитале лёгкого ранения, и располагался тот госпиталь в сочинском санатории. Это как надо кормить, чтоб в госпитале-санатории вогнать человека в смерть от истощения? Кому ни скажи, не верят... В санатории сгас от истощения?! И смотри... Изничтожили человека и – молчок. Девять месяцев ничего не сообщали Поле. Брат отца Иван Андреевич стал разыскивать Никишу, и Ивану Андреевичу ответили, что «стрелок-красноармеец умер от болезни 16 марта 1943 года... Похоронен в городе Сочи...».

– Я тут же написал в сочинский архив. И мне ответили, что «в списках воинов, умерших от ран и захороненных на Завокзальном кладбище г. Сочи, значится под номером девятьсот двадцать три рядовой Санжаровский Никифор Андреевич, дата смерти 16.03.1943». Вот я и встретился с папой на мемориале. Через полвека после разлуки... Снялся у стелы, где золотом выбито и имя отца. Вот посмотрите...

Тётушка долго смотрела молча на карточку и, горько покачав головой, в печали продолжала:

– Ох и хлебнула горюшка моя сестричка Поля... А Гриша?.. Больше тридцати лет казнились в одной комнатёшке аварийного сарая-засыпушки! Даже законом запрещено жить в одной комнате разнополым. А они жили-гнили... Всеконечно, им постоянно сулили новое жильё. И дали-таки новое жильё. Тилько на кладбище... Не дожили они до своего порядочного угла... А за шо Гришу выпихнули с третьего институтского курса? А с Митей шо утворяли? Почему его с красным техникумовским дипломом даже не подпустили к институту? А потомушки... Как старался в работе хлопчага... Возвели до директора на маслозаводе. А чего через год какой знову сдёрнули в механики на том же заводишке?

Я слушал тётю и цепенел. Почему я раньше сам в причины всего этого не влезал? Да и как я мог влезать, если не знал корней этих зол?.. Да я и сам... В далёкие шестидесятые я три года крутился редактором в редакции промышленно-экономической информации ТАСС. В центральном аппарате... По ходатайству ТАСС мне, не имевшему своего угла, кинули клетуху за выездом. Но тут же ходатайство было отозвано без объяснения мне причины, и я завис на бобах. Да и из самого ТАСС неужто меня не выдавили?..

Клеймо репрессированного душило меня шестьдесят два года. Не поэтому ли книги мои не спешили издавать? Мне было уже сорок семь, когда у меня вышла в московском издательстве «Молодая гвардия» первая книжка, и та не толще мизинца. Было это в 1985-м. На закате советской власти. И только уже после её падения, после моей реабилитации, в 1996-м, дело пошло на поправку... Стало выходить моё первое собрание сочинений...

Ну да разве эти истории папы, мамы, братьев, мои – не печали одного мотива? Всё это случайности? И не сливались ли они в один узелок ещё с чумовых тридцатых, сразу после раскулачивания моих родителей?

– Тётъ Нюр, – прошептал я, – а за что нас кулачили?

– А за то, шо в колхоз не захотели вписаться. Объявили кулаками и отобрали дом, четыре пары быков, две лошади, две коровы, восемь овец, две шубы... Всё отняли, шо можно было отнять. Дом забрали... А ваши куликали в землянушке в своём же дворе... Ты, Толик, вторую бумажку внимательно читал? Никиша... Смелюга таки був! Смелюга таки був! Разом со своим батьком отбывал первую высылку на Урале. До срока сбежал с высылки. Самоволко занял свою кухнюку. Своё взял!.. А колхоз «Безбожник» орёт: «Я заплатил за неё сельсовету пятьсот рубляков! М-моя!» Безбожный был бандюга той колхоз!.. Не побоявсь, написал Никиша в Москву, в «Крестьянскую газету», шо не по правде наказали всех наших... не по правде отняли всё у наших вплоть до путящей одёжки... А отняли всё, шо можно было отнять. Дом, амбар, кухню, сарай, сани, бричку, веялку, молотилку, плуг, корову, две лошади, шесть овец... Отнять отняли, но никакой бумаги о том, что взяли, не дали. И вышло, ограбила власть несчастную неграмотную семью. И через любые суды никогда не вернёшь отнятого ни на копейку... Да...

шайка-лейка одна була, шо в Калаче, шо в Москви... Доищись горькой правдоньки... Однако... вишь, с газетой повязан Никиша... як и ты... Одна кровь, одни стёжки... Не от батька ли пала к тебе страсть к газете?

– Гм...

– Правдоньку Никиша искал... Захотел правды знайти... Думаешь, узятый дом в дело произвели? Разобрали и за селом скулемали хатынку для овчаров. Овчары перепились та сожгли её. А ваши, в повтор заеду, с малыми детьми бедовали в землянке на своём же подворье... Время, як и вода: всё идёт вперёд. В тридцать четвёртом их сослали за Полярный кружок, на лесопильню в Ковде. Через пять лет перегнали у маляриную Грузинию. Корчевать леса да разводить чайные плантации. Рабская работа... Били и плакать не давали...

– В тридцать четвёртом... за четыре года до рождения я был репрессирован за компанию вместе с родителями. Шестидесять два года наказания... Чем я, ещё не зачатый, тогда уже провинился перед дорогой советской властью? Вы можете сказать?

– Не могу, Толик... не могу... По слухам, в тридцатые плач-годы був такой тайный порядок... Если родители объявлялись врагами народа, то и их дети, даже ещё не родившиеся, автоматом становились тоже врагами народа. Во така жуть бигает в народе... И вроде похоже... Митя був репрессированный в два года, Гриша – за год до рождения... Ты був репрессирован за четыре года до рождения! Как это понять по уму?.. По сердцу?..

Новая Криуша – столица нашей семьи

Своя земля не мёртвым тяжела.

Она – живая тяжела живущим...

С вечера тётя Нюра напекла пирожков, и рано утром я в компании с ними в портфеле поехал автобусом в Новую Криушу.

Новая Криуша...

Родовое гнездо...

Столица нашей семьи.

Иду по солнечной Ниструговке, помнившей моих молодых родителей. За плетнями август радостно хвалился сказкиным урожаем тыкв.

Полсела – Санжаровские!

Чудно как-то...

Я похож на них.

Они похожи в мою сторону. Доброта тоскует в лицах...

Санжаровские живут здесь, в Новой Криуше, не век и не два. Дедушка с бабушкой по отцовской линии здесь родились. Андрей Дмитриевич – в 1872 году. Татьяна Григорьевна – в 1874-м. Четвёртого февраля 1908 года нашёлся Никифор. Детей всего было восемь душ.

У Санжаровских было прочное, крепкое хозяйство.

Санжары – великие трудари. В Новой Криуше они жили на Ниструговке. По улице их звали Головки. Головастые, значит!

По обычаю, апрельским утром Никиша пел в хоре церкви Спаса Преображения. С клироса он увидел Пелагию Долженкову. Сама Поленька была из соседнего хуторка Собацкого. А в Новой Криуше гостила у тётушки.

Молодые познакомились и через полгода поженились. Навсегда Поля переехала в Новую Криушу. Поля была младше Никиши всего на год. И родители её, Михаил Алексеевич и Александра Митрофановна (родом она из села Манина), были почти ровесниками с родителями Никиши.

Я давно всё рвался хоть разок съездить в Новую Криушу. Да мама отговаривала. И только тут, в Криуше, я понял, почему она это делала.

Мой дед по отцу, Андрей Дмитриевич, по характеристике сельсовета, «политически неблагонадёжный», был лишён права голоса. Этот упрямистый казачара, в десятом колене выскочивший из вольных казачьих кровей, не вписался в «Красную дурь», как навеличили криушане свой колхоз «Красная заря».

– Не пойду, и всё. Ну хучь режьте!

Его не стали резать. Объявили кулаком.

А подпихнула, ускорила арест одна историйка...

По заведённому обычаю, бешеные налоги выдирали у тех, кто не пошёл в колхоз, только ночами. И вот однажды вломак вваливается в три ночи сельский активистик с дальнего угла Криуши – Ваня Сарана, он же Саранча. Так-то по бумагам Ваня пишется Толмачёвым. А уже улица приварила ему Сарану-Саранчу. Потомушко как Ваня оказался внепапочным, нечаянным побочным шальным творением погорячливого соседца Саранчина.

Вошёл Ваня и увидел у печи на жёрдочке верблюжий шёлковый платочек – и сразу хватить его.

– Что ж ты, грабитель, пакость головастая, внагляк отымаешь у сироты-малютки последний платок?! – вскипел дед и, не растерявшись, ухватил платок с другого конца и вырвал его. – Иля не знашь?.. Только ж полгода как отошла хозяйка моя Татьяна Григорьевна?

– Ну... отошла и отошла... Ворочать не побегим, – пробубнил Саранча, сражённый ловкостью деда. – Разнесчастушка ты кулачара! Я при исполнении! А ты из рук выдирать? Давать жестокою сопротивлению самой дорогой Софье Власьевне в моём лице?! В колхоз не вписываешься да ещё кулаками махаться? Думаешь, с нашим умом тут не разберёмся? Перестарался ты нонче. Не твой нонче день... Ничо-о... ОГПУ⁸ тебе клеит! Отдохнёшь на сталинской дачке! Пускай состанется платочек твоей дочуре Машутке! Пускай я вернусь нонь без ночного гостинчика своей дочке! Зато я тебе такой устройю звон московских колоколов! Тако устряпаю!.. Кровями зальёшься!

Саранча тут же побежал в сельсовет, накрутил заявление, что такой-то *«показал жестокою сопротивлению против самой дорогой советской властьюшки при исполнении»*.

И через два часа зевающий конвой погнал деда во мглу рассвета.

На «суде» тройки деда только спросили:

– Богу веруешь?

– Да.

– Хорошо. Не хочешь вступать в колхоз – три года тебе. Иди.

И весь минутный «суд».

«Троечники» были нелюбопытные. На каждого в вопросе пришлось меньше чем по одному слову. И каждому хотелось внести свою посильную лепту в выработку срока. Каждый великодушно отстегнул за каждое неполное своё слово по одному году.

И поднесли втроём все три года одному деду.

На размышление.

И чтоб не мешали ни домашние, ни соседи, добыли-таки не то что тёпленькое – от пламенных сердец с кровью оторвали жаркое местечко в уральском концлагере.

У каких-то военных он обихаживал семь коров. Сам кормил, сам доил... Он и дома доил коров. Головки – уличное прозвище – головастые трудолюбики!

⁸ ОГПУ – объединённое государственное политическое управление. В народе ОГПУ расшифровывалось так: «О Господи! Помоги убежать». Расшифровывалось и с конца: «Убежишь – поймает, голову оторвём».

К слову, я и сам пас и доил своих коз в Насакиралях.

Вернулся дед.

Сызнова в Криуше клинки подбивают:

– Снова не пойдёшь до нас у колхоз? Иля не одумалси?

– Утвердился! Невжель я мешком прибитый?

Теперь незаконно репрессировали уже всех наших. За что? За отсутствие улик? Точно сказал сатирик: «За что судили тех, у кого не было улик? За их отсутствие».

И уже целые семьи и деда, и отца ночью вытолкали с родной воронежской сторонки за Полярный круг. На лесоработы.

А деду настукивал седьмой десяток. А у отца с матерью было двое маленьких сынов. Митя и Гриша.

Зачем все они полмесяца тащились на север? Чтоб погреться в Заполярье? Или «за туманом, за запахом тайги»?

Всё родовое наше гнездо в Новой Криуше разорили «неутомимые борцы за всенародное счастье на века». Кого на север, на Соловки, кого на Дальний Восток, кого в Сибирь срочно выжали. Все-е-ех «осчастливили».

Кулачье же!

А у деда, у отца не было тёплых одеял. Укрывались самодельными дерюжками. Никаких работников не держали.

В месте ссылки нашей семьи, в заполярном селе Ковда, что прижалось к бережку Канда-лакшского залива, я и родился в субботу десятого сентября 1938 года.

Выскочил я на свет и стандартным криком о том оповестил мир.

Оповестить-то оповестил, да вовсе и не подозревал по легкомыслию, что я уже четыре года как репрессированный. Родители удостоились этой чести ещё в Криуше в 1934 году. Выходит, за компанию и меня покарали тогда же? Досрочно! Став на очередную вахту в честь очередной годовщины Октября? Наказали за че-ты-ре года до рождения?!

Оказывается, и я, ещё не появившийся на свет белый, был уже виноват в том, что мой дед, бунтарь, трудолюбик и правдолюб, тёзка знаменитого Сахарова, не разбежался вступить в колхоз и не позволил записываться моим родителям.

Ковдяна – кркали... Кркаль... Этим прозвищем награждался всяк житель Ковды. А вообще кркаль, крохаль – водоплавающая птица утиного фасона.

В промозглой заполярной Ковде родители – они были чернорабочими – ишачили на лесопильном заводе.

Отмотали наши северный срок, ан подают на блюдецке с каёмочкой южный. И семья выкатилась в Западную Грузию. Это сейчас уже за граница.

Под гнилыми, малярными дождями родительцы корчевали на косогорах леса. Разводили в совхозе «Насакиральский» чайные плантации. Потом работали на них.

Выходных там не было.

В Криуше я разыскал из наших бабушку Анисью.

Это старшая сестра моего папы. Когда-то бабунюшка была хорошей подружкой моей мамы.

Сейчас бабушке Анисье уже за девяносто.

На августовском солнцежоге она сидела на крыльце в фуфайке, в валенках и ёжилась от холода.

– Саша! – позвала она сына. – Повези, покажи, мил, Толюшке Никифорово подворье.

И первый раз в жизни проехался я вихрем на повозке, запряжённой двумя рысаками.

Я попросил Сашу уехать, и я один остался на родительской земле.

Вечерело.

Бесноватый ветер носился по одичалой пустой полоске земли, упирившейся одним концом в меловый бугор, а другим – в берег камышовой речушки Криуши. Когда-то здесь росли вишни, груши, яблони, картошка. Теперь это был пустырь, тесно забитый лопухом, сурепкой, калачиком, незабудкой (жабьими очками), полынью.

В стакан, взятый у тётушки, я набрал для памяти чёрной земли с отцова печального подворья.

Распятая земля...

Лютые Советы варварски убили деревню... Когда-то в Криуше жило более десяти тысяч человек. Теперь и двух тысяч не наскрести...

Ретивым колхозостроителям мало было уничтожить род великих тружеников. Наказали и их землю. Людей с неё согнали. Но сам участок – бросили.

И лежит родительская земля распятым трупом уже почти семь десятков лет, и жируют-бесятся на ней лишь сорные травы.

Вот этого-то, наверно, мама и не хотела, чтоб я увидел. Потому и отговаривала меня от поездки в Новую Криушу. Вечный страх быть снова ни за что наказанной заставлял её таиться, молчать. Всю жизнь, шестьдесят один год, скрывала от своих трёх сыновей, что мы «кулаки». Хотела, чтоб хоть нам жилось спокойней.

И кто осудит её за это?

Воистину «колесо истории не приспособлено к нашим дорогам».

«Оглушены трудом и водкой
В коммунистической стране,
Мы остаёмся за решёткой
На той и этой стороне».
Солнце уже садилось в тучу.

Подталкиваемый ветром, я побрёл через речушку Криушу, запутавшуюся в камышах, к церкви, где когда-то познакомились, а потом и венчались мои родители. Сейчас в полуразрушенной, загаженной церкви без крыши стонали голуби в выбитых окнах.

Долго стоял я у стелы Памяти с именами погибших в войну новокриушанцев. Было на стеле и имя моего отца...

На фронт ушло восемьсот пятьдесят мужчин. Погибло триста семьдесят восемь...

Я не стал ждать на остановке автобуса.

Пошёл в Калач пешком.

Поднялся на бугор, с которого мама всматривалась в ночную Криушу... Снизу, казалось, мне прощально в печали махала под ветром дымами родная Криуша.

Я шёл и не смел отвернуться от неё.

Я шёл спиной к городу.

Но вот я сделал шаг, и Криуша пропала из виду.

Я онемел.

И тут же снова сделал шаг вперёд, и горькая Криуша снова открылась мне. Я стоял и смотрел на неё, пока совсем не стемнело.

И лишь тогда побрёл в кромешной тьме к городу...

Эпилог. Странная реабилитация, или «Социализм с человеческим лицом»

На мой запрос о дедушке ответила воронежская прокуратура:

«Разъясняется, что Санжаровский Андрей Дмитриевич, 1872 г. рождения, уроженец и житель с. Н.-Криуша Калачеевского р-на ЦЧО (Воронежской области) по Постановлению тройки при ПП ОГПУ ЦЧО подвергался репрессии по политическим мотивам, по ст. 58–10 УК РСФСР к трём годам заключения в концлагерь.

19 июня 1989 г. реабилитирован прокуратурой Воронежской области на основании Указа ПВС СССР от 16.01.1989. Дело № Г-4193 хранится в ЦДНИ г. Воронежа (ул. Орджоникидзе, 31)».

После долгой писанины во всякие инстанции я всё же добыл справки о реабилитации дедушки, мамы, папы (все посмертно). Реабилитирован и я.

Отец, на фронте защищая родину, погиб репрессированным.

Мама умерла в возрасте восьмидесяти шести лет репрессированной. Пережила шестьдесят один год незаконных репрессий.

Старший брат Дмитрий был репрессирован в двухлетнем возрасте. Средний брат Григорий был репрессирован за год до рождения. А уж я напоролся на вышку. Я был репрессирован за четыре года до рождения. Вот какие в тридцатые очумелые годы были грозные «враги» у советской власти. Как же их не карать?

В нашей семье все пятеро были незаконно репрессированы. Трех реабилитировали. Но братьев Дмитрия и уже покойного Григория – нет. И куда я об этом ни писал, мне так и не ответили.

Ещё дикость. У родителей незаконно отобрали всё имущество.

Пытался я, член Московской ассоциации жертв незаконных репрессий, получить хоть какие крохи компенсации. В судебной тине дело и увязло...

В печали я часто подолгу рассматриваю вот эту справку о своей реабилитации.

Читаю в ней:

УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Индекс 394690, г. Воронеж,
ул. Володарского, 39

СПРАВКА № 10/9-С-484
о реабилитации

« 17 » мая 1996 г. г. Воронеж

Санжаровский Анатолий Никифорович
фамилия, имя, отчество

Год и место рождения 1938 г.
Мурманская область, Кандалакшский район, с. Ковла

Место жительства до применения репрессии родители - Воронежская область,
Калачеевский район, с. Новая Кривуша

Где, когда и каким органом репрессирован 1934 г.
Калачеевским РИК

Основание применения и вид репрессии по политическим мотивам в административном порядке
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 01.02.30г. семья раскулачена и
выслана в Мурманскую область

На основании п. «в» ст. 3 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. «О реабилитации
жертв политических репрессий»
Санжаровский Анатолий Никифорович
фамилия, имя, отчество
реабилитирован(а).

Зам. Начальник УВД
администрации Воронежской области

« 17 » мая 1996 г.



«Где, когда и каким органом репрессирован».

Ответ:

«1934 г. Калачеевским РИК».

РИК – это райисполком.

В третьей строчке указан год моего рождения. 1938-й.

Только вдумайтесь.

В Ковде Мурманской области, куда сослали нашу семью, я родился в 1938-м, а репрессирован Калачеевским РИКом Воронежской области в 1934-м одновременно вместе с родителями, которые отказались вступить в колхоз!

Вот какой бдительный был «социализм с социалистическим лицом».

Наказывал человека за четыре года до его рождения! Брат Григорий был наказан за год до рождения и на всю жизнь! Григорий, повторяю, родился уже виноватым. И умер виноватым. Всю жизнь в репрессии. Да за что? В чём его вина? Кто объяснит? Кто ответит?

Брат Дмитрий был репрессирован в два года...

Я перенёс целых шестьдесят два года незаконной репрессии.

Шестьдесят два года постоянного советского страха...

Всю жизнь душа и воля в советском ярме... А за что?

Я никак не вспомню, какое ж тяжкое преступление перед государством я совершил за четыре года до своего рождения?

Дмитрий Филиппенко



Дмитрий Филиппенко родился в 1983 году в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «Берега», «Ковчег», «Плавучий мост», «ЛиФФт», «Байкал», «Начало века», «Русское эхо», в «Литературной газете» и ряде других изданий. Главный редактор литературного альманаха «Образ». Автор трех книг стихотворений: «На ладонях берёзовых рук», «Небо на подоконнике», «На побережье пульса».

Тише, тише, давай без любви...

В эфире

Я взял молчанье, тишину в эфире,
Теперь меня не слышно никому.
Спокойно посижу в своей квартире,
Смирение дано мне одному.

В сети воюют и кричат поэты,
А я пишу больные, но стихи.
Понятно мне, где мухи и котлеты,
И ясно мне, где духи и духи.

Сегодня

Во дворе белый запах мороза.
Наберу два ведёрка угля
И начну новый день с Берлиоза
У печи посреди февраля.

Растоплю я кедровую баню,
Приготовлю я ужин жене
И стихи о любви ей сварганю,
Вот что близко и дорого мне.

«В подземной колыбели тишина...»

В подземной колыбели тишина,
Ползёт змеёю ленточный конвейер.
Мужская дружба здесь всегда сильна,
Прохладой внеземной по шахте веет.
Проходчик знает, знает каждый ГРОЗ,
Что шахтная вселенная мгновенна.
По квершлагу плывёт дизелевоз.
И подвигов история бесценна.

Летом...

Летом в шахте так же, как зимой:
Тот же воздух, почва, та же кровля,
Бригадир такой же деловой!
Думает, что все ему неровня.

А проходчик так же устаёт,
Но глядит на всё он с оптимизмом,
Девушку любую украдёт,
Обладая бешеной харизмой.

Летом в шахте так же солнца нет,
И вода в забое ледяная,
Но шахтёр несёт жене букет,
Бригадира матом вспоминая.

«На сонный берег января...»

На сонный берег января
Упала ночь, звезду ругая...
Любви сорвались якоря,
Чужая ты, совсем другая.

Как будто талая вода,
Прошепчешь мне слова: Good morning.
И уплываешь в навсегда,

В страну разрушенных гармоний.

«Моя любовь замёрзла у реки...»

Моя любовь замёрзла у реки,
И чувства зябкие – фарфоровые узы.
А через душу проплывают сквозняки,
Но жалят сердце мне как будто бы медузы.

Мосты зевают, и не спит Нева.
Хрустальный ветер прозвенел и в небе скрылся.
Я перед ней в трёх бедах виноват:
Недолюбил, не позабыл, не спохватился.

«Под одеяло хочется твоё...»

Под одеяло хочется твоё...
Холодный ветер с запахом Байкала.
И дождь иркутский больше не поёт.
«Иди ко мне», – тихонько ты сказала.

Неровный свет укутал тишину.
Твоё дыхание ловлю губами.
Под одеялом я твоим уснул,
И шёпот наших тел плывёт меж нами.

«Удалила меня из Сети...»

Удалила меня из Сети.
Что я, зуб больной, жуткая опухоль?
Я заложник шахтёрской клетки,
Ты – заложница странной эпохи. Хоть

Расскажи, с кем живёшь вопреки?
С кем встречаешь снега белой осени?
Удалила меня. Свет руки
Твой погас. И хрипит двухголосие.

Холодная постель

Холодная постель – равнина без любви.
Цветы погасли снов и ягоды эротик.

Я приобрёл грехи, конечно, на свои.
Ухаживал. Терпел следы твоих экзотик.

По-прежнему в тебе нет дыма без огня,
И полуфразы слёз мне говорят об этом.
Холодная постель укутает меня,
Но, жаль, моя любовь останется раздета.

Полторы минуты

Ещё минуты полторы – и кончится весна.
Июнь не промолчит о том, что бросила меня ты.
Закончилась любовь. Пусты бокалы. Нет вина.
Твой запах на моих губах – как лёд со вкусом мяты.

Но ты была! Ты здесь спала. И без тебя никак.
Рычит в квартире тишина, и тлеет сигарета.
Я помню твой последний свет и твой последний шаг.
Переступив меня, ушла ты за границу лета.

«От меня ушла жена...»

От меня ушла жена,
Пироги, пельмени – с нею.
За окном моим луна
Стала чуточку стройнее.

Невлюбил я тишину,
Голодание, похмелье.
Всё же я верну жену
После виски в понедельник.

Чужое лето

Мне про тебя стихи писать нельзя,
Твои глаза и имя под запретом.
И сердце мне твоё с собой не взять,
Ведь я же не хирург, чтоб сделать это.

Вернусь в свою никчёмную дыру,
Работа, дом и паутина стресса.
Но скрою от друзей и от подруг,
Что целовался с лучшей поэтессой.

Часы на башне за твоим окном
Мне говорят, что ты – чужое лето.
Курила сигарету, пил вино,
И ночь впадала в ручеёк рассвета.

Несерьёзная

Ты сказала, прикрыв губки пальчиком:
«Тише, тише, давай без любви.
Не зови меня деточкой, зайчиком
И котёнком меня не зови».

Я наполнил твоё сердце звёздами,
Поцелуй ловя на лету.
Почему ты со мной несерьёзная?
В баловстве я твоём пропаду.

«Я шатаюсь по городу пьяным...»

Я шатаюсь по городу пьяным.
Серый воздух. В Кольчугине – осень.
Отшумели в подъездах баяны
Или не было их там вовсе.

На аллее Шахтёрской славы
Надо мною смеются дети,
Я старался для них быть забавным,
Перегаром своим не задеть их.

Выхожу на дорогу я смелым,
И воздушна моя походка...
Гул. Авто. Тормоза. Я целый.
Жалко очень: разбилась водка.

Алексей А. Шепелёв



Алексей А. Шепелёв родился в 1978 году. Поэт, прозаик, лидер группы «Общество Зрелища», исследователь творчества Ф. М. Достоевского, кандидат филологических наук. Автор нескольких книг крупной прозы, в том числе «Москва-bad. Записки столичного даунишфтера», «Настоящая любовь / Грязная морковь», «Мир-село и его обитатели». Лауреат премии «Нонконформизм», Международной отметины им. Д. Бурлюка, финалист премий Андрея Белого, имени И. Анненского, «Чистая книга» им. Ф. Абрамова; книги также входили в лонг-листы премий им. И. Бабеля, В. Астафьева, «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна». Произведения публикуются в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Нева», «Урал», «Юность», «Православное книжное обозрение», «Традиции & Авангард» и многих других. Стихи переводились на немецкий и французский языки.

Велосипедная прогулка

Новелла

*Но ты не сможешь отпустить на волю,
но ты не сможешь подарить свободу,
но ты не сможешь приручить навеки,
чтоб не кончался горизонт повсюду...*

Егор Летов

В летних сумерках чувствовалась горечь, приятная и острая – такая бывает после короткого дождя, когда высыхающая на солнце трава пахнет в сто раз сильнее, чем обычно; эта горечь улавливалась не обонянием, время от времени она просто возникала внутри, отчего сердце на секунду сжималось, а потом начинало биться неровно и нервно.

Сидеть дома с таким ощущением было невыносимо. К тому же я прекрасно понимала, что означает эта внезапная горечь. Так бывало со мной уже не раз, и следом за ней неизменно наступало полнейшее равнодушие к жизни, которое, если его вовремя не перебить, легко могло бы иметь самые неприятные последствия. Но, к счастью, всякий раз я знала, что нужно сделать.

Велосипед был не мой, мне оставил его на время своего отъезда один старый знакомый. Сказал: будет, мол, нечем заняться или вдруг грустно станет – покатаешься, мозги проветришь. «Надеюсь, за полгода в Штатах я куплю себе такой же, даже намного круче» (что-то про карбоновые рамы и три десятка скоростей), – добавил он, как-то нарочито улыбаясь, как будто тренировался для новой жизни, где всё в изобилии и все улыбаются.

И ведь действительно срабатывало: даже в разгар очередного приступа вселенской тоски стоило только выехать за город, хорошенько разогнаться... Как в детстве – на плохо управляемом гиганте со странным названием «Сура»... Сразу видится клип моей любимой группы Queen: молодые англичанки, этикие эмансипированные леди Годивы, катят с ветерком на допотопных спортбайках с загнутыми рулями... их много... Но это лет четырнадцать, наверно, мне уже было, когда я сама в последний раз каталась!.. Вспоминается немецкий фильм про взрослеющую девушку, получившую первый оргазм при поездке на велике... Хотя для меня в этих велотрипах нет почти совсем ничего эротического, а тогда – и тем более... Было что-то простое и в то же время сложное, как запутанная задачка по геометрии... и в то же время опять простое, неопишное, от какой-то неповседневной тайны: какой русский не любит быстрой езды?! Только я вот не очень русская, да и коротенькую клетчатую юбочку с цепочкой на боку я бы тогда ни за что не надела...

Тогда в нашем городке встретить велосипедиста (а тем более велосипедистку) было большой редкостью, разве что прогремит рано утром в выходные дядя Петя из второго подъезда, в длинном плаще и резиновых сапогах, с примотанной к рамке удочкой, а потом вечером, уже поддатенький, катит домой скрипучий «Урал» на руле со снизкой силиявок для кота... Проедет спортсменка в облегчающем костюме – все так и замирают!.. А тут – откуда-то всё больше вышмыгивают на модных «велах» невероятные, раскованные девочки-манги – как будто те самые иностранки из клипов и фильмов: в тех самых юбочках, в которых мы и на дискач отпроситься не решались, в лосинах уже без юбочек, в перчатках, очках и наушниках!.. И почти всем тем же экипированные – мальчишки!..

I want to ride my bicycle,
I want to ride it where I like...⁹

Но, может, я и не вышла бы из дома с велосипедом. Так и осталась бы лежать на кровати с пледом, безучастная ко всему, глядя в потолок или в книгу, что казалось мне занятием практически равноценным. Или, набрав первые несколько цифр одного очень важного для меня номера, останавливалась бы в раздумьях, сбрасывала, а через минуту набирала снова. Однако нашлись у меня кое-какие дела, которые, как ни странно, даже сумеречный мой сплин не смог

⁹ «Хочу покататься на велике, хочу кататься на нем, где захочу...» (англ.). Из песни Bicycle Race группы Queen.

отодвинуть на второй план. Тем более что всё это каким-то неведомым образом оказалось между собой взаимосвязано...

Поэтому, будоража соседей, я прогрохотала вниз внушительного вида «изобретением». На улице в лицо сразу же бросился порыв сухого ветра. Вечер, притворившийся благостным и прохладным, по ту сторону оконной рамы оказался душным и неприветливым – если б не велосипед, тащиться на другой конец города расхотелось бы мгновенно. Но именно туда влекло меня моё важное дело, а если точнее – подруга, с которой тысячу лет не виделись.

Вика – странно сказать! – капитан контрразведки, спорт сменка, комсомолка, а теперь ещё и в меру брутальная красавица латинка (в отличие от миниатюрной, неспортивной, скромной и... стильной, не в лосинах, меня), целых четыре года пропадала в дебрях гангских джунглей и южноафриканских рифтов (!) и теперь приехала на несколько дней в тихий родной городок «оформить на себя» квартиру бабушки. Такую встречу откладывать нельзя, несмотря ни на какие причуды моего эмоционального фона.

Отбросив хандру и уже с удовольствием предвкушая поездку с ветерком, вспорхнула на велосипед с грацией, которую наверняка оценила бы, будь она жива, «божественная Изадора» («дар Изиды» – какая энергетика в этом созвучии!), и направила его в западную сторону города, туда, где за уходящей в бесконечность лентой главной улицы, казалось, не было больше ничего.

* * *

Я верю: он появился неслучайно. Я теперь знаю, что, если бы мы не встретились именно тогда и именно так, я разыскала бы его каким-то другим способом. Любим. Потому что он стал частью меня гораздо раньше, чем я увидела его.

Обитатели и завсегдатаи Дома печати в нашем милом городке испокон веков считали и продолжают считать сие учреждение средоточием интеллектуальной и даже богемной элиты. Один местный Союз писателей в двух кабинетах на третьем этаже чего стоит! Понятно, нельзя произнести подобное без иронии: богема и духовный аристократизм – в суетливо-тягучих буднях провинциальных редакций, на прокуренных лестницах с жестяными банками окурков... Но он появился именно здесь!..

Я работала в одной из крупных областных газет и чувствовала себя, что поделаться, почти совершенно в своей стихии. Тогда-то мне и стали попадаться на глаза его тексты: необычные, умные, порой с вольным обращением с принятыми понятиями и авторитетами, едва ли не циничные – что совершенно несвойственно нашим авторам, а у него казалось всегда уместным и органичным. Написанные от руки, мелким и неровным почерком, их и разобрать-то с первого раза мало кто мог... Я – могла. Я была единственной, кто брался их перепечатывать, и раз от раза процесс этот становился для меня почти сакральным действием, выбивавшим из рабочей колеи на весь оставшийся день. Да что там работа – часто после очередной его рецензии или отчёта о неведомых мне литературных мероприятиях и столичных тусовках я ночей не спала, размышляя, кто он, как выглядит, сколько ему лет... и представляла, что в один прекрасный день... В общем, я влюбилась. Смешно сказать – по почерку.

Прекрасный день наступил зимой. Редакторша привела в кабинет, где я работала, голубоглазого молодого человека... Он показался мне симпатичным и скромным, и на её просьбу помочь внештатнику с распечаткой какого-то текста я, несмотря на занятость, отреагировала снисходительно. Я отлично знала, что его рецензии и очерки всегда были на бумаге, но почему-то, как только мы остались вдвоём, сердечко моё начало очень уж усиленно работать, подгоняя кровь к лицу. Оно, глупенькое, что-то такое почувствовало... Взгляд его был так же энергичен и необычен, как и тексты. Какая-то вспышка... На мониторе – его текст, готовый к

печати. А под ним – его имя! Вот так мы наконец встретились. И я безмерно возжелала стать его собственностью.

Он об этом, конечно, ещё не знал.

* * *

Честное слово, крутить педали не так-то просто! Особенно с непривычки. Первые километры это может нравиться и даже приводить в восторг, но минут через двадцать-тридцать ноги словно наливаются свинцом, и согнуть-разогнуть их становится действительно проблематично. Не проехав и половины пути, я поняла, что до Викиного дома просто не дотяну, ибо путь и на общественном транспорте был бы неблизкий. Стремительно вечереет, я вся вымотанная, боль во всех мышцах... И, главное, надо ещё выдержать разговор – первые эти минуты... Не столько, я всё же надеюсь, выяснение отношений, сколько сразу поддержать его, как говорят, в позитивных тонах.

Надо предупредить: мало того, что тень старой нелепой обиды, наверное, так и стоит у неё, виртуальной и загорелой, за плечом, оно и просто невежливо. Остановилась, достала мобильный.

Гудки, скрип и скрежет... Дышу всё же часто, в груди, прямо у горла, что-то колыхнется...

«...В глухих лугах его остановлю...» – тоже песенка про вел и любовь из нашего детства...

– Ну ты где? Я тебя уже заждалась! – вполне себе бодрая.

– О, извини, ты знаешь, я... я тут к тебе на велике выехала и на Советской шину проткнула! Какие-то уроды стекла насыпали, авария, что ли, была... – немного не то, осекаюсь, но ладно... – Придётся возвращаться, а пока туда пешком, обратно, уже совсем поздно будет, давай я завтра?..

– Вот ты всегда так! Ладно, слушай, завтра мне здесь в нашей конторе отметить нужно – я ведь человек подневольный, сама понимаешь, типа служу отечеству... Давай тогда лучше я к тебе часика в два сама заскочу, фотки принесу, fine? В воскресенье мне уже надо прибыть на... Оу, сорри, зарпортовалась!.. – Подруга детства уже шесть лет живёт в столице и там несёт ответственную, тяжёлую и невидимую, на взгляд обывателя, службу. Вернее, это уехала она в столицу, а дальше её швыряло – то в Беларусь, то на остров мечты и свободы, то в Индию, а теперь вот докатилась и до Южного полушария.

– Ой, Вик, это было бы просто супер!

Не умею я врать – даже на три копейки. Детсад какой-то...

Впрочем, ей, наверное, не до меня: наверное, она сама «пытается адаптироваться», не выглядеть напрочь чужеродной. В очередной раз ловлю себя на том, что говорит она, перемежая речь простейшими английскими словечками, иногда совсем странными (раньше высказывали все эти *innit?* и *окау*), то зависает на месте, то, наоборот, захватывает-заглатывает кучи слов, как будто задыхаясь, из-за чего обычные фразы звучат непривычно, как-то наигранно.

Эх, мы тогда в старших классах балдели от Кубы – море, солнце, экзотика, Фидель, Че, революция, – доставали все эти редкие книжки – можно сказать, целый фан-клуб организовали. А когда она «вдруг» попала на заветный остров, я начала учить испанский. Кстати, там, на курсах, как раз и познакомились с хозяином велика Иннокентием – столь же интеллигентным молодым человеком, как и все его родственники и само его имя. За пару месяцев дальше *El gato es gris* мы не продвинулись, зато своей разнополой дружбой подтвердили, что вопреки расхожим стереотипам и из этого правила всё же есть исключения.

Вика тоже зависла там недолго, а потом уже началась у неё «Рабыня Изаура»... В общем, с Викой мы были неразлейвода, хотя тусили, особенно когда уже «на почве Кубы», со многими (там даже приличные наши дворовые мальчишки «вступали в ряды», даже помещение хотели

выбить). Ещё у нас была Аринка, третья подружка, больше Викина. Я тоже знала её с ползунков, жили рядом, но как-то не особо с ней сдружилась, а потом она всплыла уже в одиннадцатом классе. С самых зелёных лет я смутно понимала, чувствовала, что с ней «что-то не то». В «большой жизни» (тоже уехала, в Питере умудрилась стать фэшн-фотографом) эти её детские наклонности, судя по обрывочным сведениям из полудюжины открыток, проявились в полной мере. Сплошная романтика, только вот с очередной «невестой» к родителям не заявишься.

И вот однажды ситуация выскочила как в идиотских мелодрамах или ситкомах. Вышло так, будто я свою Вику от неё, этой взрослой Арины с её наклонностями, «захотела отбить», – а в частности ничего другого, как вместо давно планируемого Аринкиного дня рождения в кино потащила. (В детстве мы с Викой любили затяжные пеплумы типа «Спартака», а потом ещё во дворе пытались их инсценировать... А тут папаше дали бесплатные билеты, Жанка уехала, и я – только узнавшая само это пепельное слово «пеплум», казавшееся засыпавшим античную древность пеплом Везувия, – позвала одну Вику...) В мои семнадцать мне ничего подобного и в голову не могло прийти, первые песни Земфиры мне даже нравились, сама всем раздавала и переписывала на центре кассету!..

В общем, каким-то образом вышел натуральный скандал, каким только может быть скандал подростково-девчачий. Аринка со мной года два не разговаривала и год потом в Питере, и с Викторией у них испортилась вся дружба, и до кучи даже у нас с Викторией... Но вспоминаю я, конечно, не это дурацкое недоразумение, а то, например, как мы с ней ещё в пятом разрисовали книжку про Винни-Пуха. Причём занимались мы этим почему-то не в школе на уроке и даже не дома, а во дворе за столиком... И неудивительно – такой уж там творился криминал. Лежащему на боку бедному ослику Иа были воткнуты сверху вилы и рядом подпись: «На мясокомбинат!». Свастика на плече мальчугана – и вот вам Кристофер Борман! – даже и сейчас смешно.

Вроде не обиделась, это хорошо. Только мне возвращаться домой совсем перехотелось. Ноги за время остановки теперь, кажется, отдохнули и окрепли. Я огляделась по сторонам. Справа от меня мелькнул, поманив картинками пыльного детства, захолустный переулочек, выходящий к набережной и мосту через речку, за которой – хорошая асфальтовая дорога, ведущая к дачам. Соблазн свободно проехать по ровному полотну, приятно-мягковатому, нагрешемуся за день и теперь медленно отдающему своё тепло розоватому солнечному свету, не шарахаясь непрерывно от сигналящих машин или рьяно спешащих куда-то людей, оказался велик, и я, дав по тормозам, уверенно свернула.

* * *

На своё двадцатитрёхлетие в подарок от провидения я получила не только высокую температуру, но и его визит. Это произошло через месяц после нашей первой встречи. По просьбе редактора я вышла на работу больная, было тяжело, и, когда в конце дня он появился, тихонечко открыв дверь (наши сотрудники да и посетители врывались всегда шумно и нагло!), я даже не знала, радоваться мне или нет...

Опомнилась, предложила чаю. На мои расспросы, чем занимается помимо прекрасных рецензий, без воодушевления ответил: «Да ничем, диссертацию пишу», – как будто речь шла о работе грузчиком. Я, наверное, так и сияла, и он, уже оживившись, признался, что вообще-то ещё и прозу – и вот первый роман даже скоро выйдет в Москве.

С писателями местными, матёрыми прозаиками и юными поэтессами, я сталкивалась-общалась едва ли не каждый день, а некоторых даже доводилось по долгу службы интервьюировать. Эх... Участие в Межобластном слёте, грамоты от Администраций и Организаций – в общем, сплошные достижения... Или, например, Иннокентий. Если он открывал рот заговорить о книгах и музыке, то говорил всегда, как свойственно потомственному тех-

нарю-интеллекту, с дилетантским пиететом, даже с раздражающим придыханием! Как о Культуре с большой буквы, как о каком-то «пеплуме» и «Олимпе»! Если он, «сын своих родителей», мог запросто обронить: «Обожаю музеи и путешествия»... То «мой brutальный грузчик», напротив, рубил сплеча, взвешивал на руке шедевры и мнения и на глазах играючи отсекал лишнее. В двух предложениях он закручивал такое, отчего коллеги-журналистки, если вдруг удосужились прочесть свою же газетёнку, ещё долго интеллигентно-праведно охали!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.